Евгений Бунимович

Девятый класс. Вторая школа

[memoria]

CORPUS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Евгений Бунимович — поэт, публицист, педагог, общественный деятель. Заслуженный учитель России, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премии Союза журналистов России, премии Правительства РФ в области образования, кавалер французского ордена Академических пальмовых ветвей.

Е. Бунимович — автор десяти книг стихов, сборников статей и эссе, а также школьных учебников по математике, участник поэтических фестивалей во Франции, Бельгии, Италии, Германии, Англии, США, Канаде, Китае и Украине. Его стихи и эссе печатались во многих странах мира в переводах на английский, французский, немецкий, голландский, испанский, польский, румынский, арабский, китайский и другие языки.

«Девятый класс. Вторая школа» — книга воспоминаний о знаменитой 2-й физико-математической школе, слава о которой гремела по Москве и где сложилось совершенно уникальное сообщество неординарных учителей и учеников со свободным взглядом на мир, на окружающую действительность.

- Евгений Бунимович
  - Необходимое предуведомление
  - До
  - Француженки
  - Феликс
  - Класс
  - Классный
  - Бегемот и другие
  - Только влюбленный
  - Зоя
  - Фантомас
  - Лишние хромосомы
  - Непомнящий
  - Северный поход
  - ЭлПэ
  - Возвращение
  - Невольник чести
  - Сивашинский
  - Крука
  - Экзамены
  - После
  - Наталья Васильевна

- Встречи и прощания
- Шеф
- Personalia
- Фото с вкладок

Евгений Бунимович
Девятый класс. Вторая школа
Объяснение в любви в 23 частях

Необходимое предуведомление

Логика была математически безупречной — все-таки звонили из физматшколы.

К полувековому юбилею готовился том воспоминаний выпускников знаменитой московской Второй школы. Коль скоро я выпускник, да еще последнего перед ее разгромом 1970 года, и при всем при том в некотором смысле писатель, то сами небеса велят мне поучаствовать в этой достойной акции.

Но, видно, небеса тогда не очень велели. Ничего я не написал.

Прошло еще пять лет, вышла объемистая книжка воспоминаний выпускников и учителей. Школа отмечала следующий, уже не столь круглый юбилей. Мы пили чай (не только) в кабинете нашего легендарного директора Владимира Федоровича Овчинникова. Потом с однокашниками и нашим классным Яковом Васильевичем Мозгановым в кстати подвернувшейся забегаловке ели, пили, пели, вспоминали.

После активных ностальгических возлияний долго не спалось. В неверном предутреннем полусне стали возникать картинки — сначала смутные, потом все более яркие…

Собственно, так и появились эти воспоминания. Оставалось только записать. Теперь на бумаге все выглядит не столь ярко и пронзительно. Тогда, под утро, с похмелья получилось (показалось?) куда лучше.

Когда идут стихи — это как карабкаешься куда-то вверх: то легкость нездешняя, то дыхание сбивается и можешь сорваться. А эти воспоминания я писал без напряга (верный признак графомании).

И еще. Бывают мемуаристы — с первого случайного знакомства замечательные люди доверяют им свои самые сокровенные мысли и чувства. Со мной не так. Не делились. Не сразу.

Пришел я в школу четырнадцатилетним шалопаем. У мальчишек в карманах вечно собирается всяческая кажущаяся только им важной дребедень. Наверное, и то, что вспомнилось, — такая же дребедень, совсем не самое важное. Но запомнилось именно это.

А память у меня никуда. И это только усугубляется с годами (как, впрочем, и все остальное). Получается — мало того что застряло в памяти не самое важное, так еще и этому застрявшему едва ли можно вполне доверять.

Но ничего перепроверять не буду. Как это сохранилось в

пыльных байтах моей памяти со всеми ее вирусами и тараканами — так это и было. Таков базовый постулат моего эгоцентрического мироощущения.

В конце концов, осознанию непростых взаимоотношений между правдой факта и правдой художественного вымысла меня учила именно Вторая школа.

А я был хорошим учеником.

До

Рос я ребенком задумчивым и покладистым, звезд с неба не хватал.

До школы гулял в маленькой частной детской группе по саду ЦДСА, теперь он — Екатерининский парк. Наша бонна заодно якобы учила нас немецкому. В итоге немецкий оказался как раз из тех языков, на которых не знаю практически ни слова. В отличие от Саши Кауфмана — теперь он Александр Давыдов. Он тоже ходил в эту дошкольную группу и по сей день помнит (если не врет) какой-то немецкий стишок.

Впрочем, Сашка, как и все остальные в группе, был старше меня на год. А когда тебе пять лет, а им, гадам, уже шесть, это весьма существенно.

Собственно, эта дельта возрастов и определила мою дальнейшую образовательную траекторию. Когда все пятеро партнеров по немецким прогулкам в саду Советской армии отправились в первые классы, встал вопрос, что делать со мной, которому до школы оставался еще целый год.

На семейном совете решили запихнуть и меня в первый класс школы, которая была прямо под окнами родительской спальни. И запихнули.

Все нормальные люди с умилением вспоминают своих первых учительниц, бережно хранят в памяти детали — кружевной воротничок, стоптанный башмачок, седые прядки, школьные тетрадки. Пару золотых зубов по углам и привычку застегивать кофту не на ту пуговицу. Ну хотя бы имя-отчество…

Я не только не помню свою первую учительницу — я вообще из первого своего школьного класса не помню решительно ничего. И никого.

Как известно, в первом классе никаких отметок, кроме «пятерок», в принципе не бывает. Тем более — в итоговом табеле успеваемости. В моем табеле за первый класс «пятерок» не было вообще.

Родители с этим смирились. А что им оставалось? Старший брат все школьные годы был круглым отличником. Ну а младший… Кем является младший брат в сказках народов мира, хорошо известно.

Однако когда после первого моего класса школу преобразовали в интернат для умственно отсталых детей, родители, видимо, решили, что это уже слишком, и перевели меня в соседнюю школу, через дорогу. Но ненадолго.

Через неделю после начала занятий мама услышала от

соседки, что совсем неподалеку, на Палихе, открылась французская спецшкола. Спецшколы только входили в моду, и классы по конкурсу там уже давно были набраны. Да если бы и оставалась такая возможность, судя по плачевным итогам первого класса, вести меня на собеседование было вполне бессмысленно.

В итоге вместо меня собеседование успешно сдала моя великая мама. Во всем, что касалось детей, она была неостановима. И хотя это было против всех правил и инструкций, меня зачислили.

Сначала — условно.

Француженки

И во французской спецшколе невыносимых училок хватало.

Математичка Анна Федоровна, диктуя в нос условие банальной задачки «Из пункта А в пункт Б вышел поезд…», умудрялась делать грозные ударения не только на каждом слове, но и на каждой букве, включая согласные. Особенно мрачен был в ее исполнении конечный пункт Б.

Однако атмосферу школы задавала не она, а местные *француженки* — учительницы французского языка. Их было много, и на каждой лежала своя печать нездешности, тень иного мира, отгороженного от нас, советских пионеров, глухим железным занавесом.

Вообще-то наши француженки сами никогда во Франции не были. При этом они тщательно отрабатывали нюансы произношения и грамматических форм французского языка, досконально изучали с нами план Парижа, по которому никогда сами не бродили.

Это был настоящий театр абсурда, рядом с которым дистиллированный абсурд Беккета — Ионеско кажется вершиной соцреализма, но тем незамутненней и прекрасней был творимый ими миф Франции, избавленный от каких бы то ни было бытовых подробностей.

Классная руководительница Галина Борисовна была очень молодой и очень симпатичной. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы мы ее полюбили. На классных часах она читала вслух нудную книжку про хорошие манеры, стараясь таким безнадежным способом их нам привить.

Вскоре Галина Борисовна уехала на работу в дружественную Африку. Снова я увидел ее в вестибюле школы пару лет спустя и чуть не кубарем рванул вниз по лестнице. Она мельком приветливо посмотрела на меня, сказала: «Как ты похорошел!» — и продолжила разговор с коллегой.

Мне было тогда лет двенадцать (может, тринадцать). От такого поворота я остолбенел, на ватных ногах направился к зеркалу, что висело у входа в раздевалку. Попробовал посмотреть на себя какими-то иными глазами, но ничего нового не обнаружил. На меня глядел ошалелый отрок в школьной бесформенной форме мышиного цвета.

Примерно к тому же времени относится воспоминание о том, как мы в школьном сортире, как положено, мерялись пиписьками. Самая убедительная оказалась у тощего одноклассника, в шеренге на физкультуре стоявшего последним. Это озадачило.

На этом месте закроем опасную тему полового созревания (временно) и обратимся к моменту перехода во Вторую школу.

Тут своя история. Когда после 7-го класса я получил грамоту на городской олимпиаде по математике, а следом за ней — письма из математических школ с приглашением поступать туда без экзаменов и собеседований, родители призадумались. Навели справки. Решили сдать меня во Вторую матшколу — она считалась лучшей в Москве.

Летом мы весело и безмятежно стояли под Москвой школьным палаточным лагерем. Туда родители и приехали за мной — пусть и без конкурса, но надо было обозначиться в новой школе в определенный день, чтоб меня зачислили.

Уходить из французской спецшколы, где мне было совсем неплохо, где в классе была тесная компания, не хотелось. Когда папа с мамой приехали за мной, чтоб отвезти в эту чертову Вторую школу, я не нашел ничего умнее, как спрятаться в лесу, проявив необычное для себя радикальное упрямство.

Родители, видимо, всерьез перепугались. Через верных моих приятелей передали заверения, что никуда меня не повезут. Но чтоб я немедленно выходил.

Сошлись на компромиссе: я остаюсь в своей французской, но буду раз в неделю ездить в вечернюю матшколу (она работала как раз при Второй).

Туда я исправно и даже охотно ездил потом весь год. Занятия в вечерней школе вели студенты, и это было совсем не похоже на тоскливое мычание Анны Федоровны. Да и направлялся я туда не один, а с одноклассницей Ленкой Захарьиной, которая, судя по всему, мне тогда весьма нравилась.

Через год, после экзаменов восьмого класса, тесная компания во французской школе стала распадаться — кто-то собрался уходить, а взбалмошную Галку, центр и мотор всей нашей команды, вообще грозили оставить на второй год…

В общем, мы с Ленкой решили переходить во Вторую школу.

Феликс

К моменту перехода во Вторую школу как с классической литературой в целом, так и со школьными уроками литературы в частности для меня все было предельно ясно — это не имело ко мне ровно никакого отношения.

Удобно расположившись на последней парте, приготовился я мирно продремать оставшиеся два года среди лишних людей, лучей света в темном царстве и прочей хрестоматийной лабуды — и написать затем требуемое выпускное сочинение.

Учитель литературы сперва заинтересовал меня разве что тем, что много курил, причем не как все, а через забавную трубочку.

«Мундштук», — со знанием дела диагностировал более эрудированный одноклассник Ян. Так вот, этот чудак с мундштуком на одном из первых уроков стал зачем-то читать вслух занудную сцену объяснения в любви из тургеневского «Накануне»:

Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь… Он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь… никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза…

ты пойдешь за мной всюду? — Всюду, на край земли…

Сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло…

И так далее.

— Ну как? Нравится?

Мы пришли из самых разных школ одинаково опытными советскими девятиклассниками, и нас голыми руками взять было не просто.

— Да, очень. Это же Тургенев! — отвечали законченные пятнадцатилетние лицемеры.

— А тебе тоже нравится?

— Нравится.

— А тебе?

— Конечно, это же русская классика!

— А тебе?

Кто-то, не устояв перед напором учителя, с перепугу повысил градус:

— Это гениально!

Кто-то на всякий случай вставил про великий и могучий. Так учитель добрался и до последней парты, то бишь до меня:

— А тебе?

Настойчивость настораживала. Чего он хочет, этот жилистый,

рыжий, всклокоченный мужик? Чего мусолит? Получил ответ про гениальную русскую классику — все, погнал дальше.

Я впервые внимательно взглянул в выпученные сквозь толстые стекла очков глаза человека с литературной фамилией Раскольников. Неужели его интересует, что я на самом деле об этом думаю?

Я встал и сказал:

— Если честно, сам я в любви еще ни разу не объяснялся. Но, по-моему, это делается не так.

Класс загоготал, учитель вместе со всеми. Он заговорил о вымученности языка, надуманности эпизода. Прочитал совсем другой, действительно классно написанный кусок из того же романа.

Это было невероятно. Не то, разумеется, что классик, портрет которого висел тут же, мог писать так себе, не ахти. К девятому классу это уже не было для меня открытием.

Невероятно, что об этом можно было говорить — в школе, в классе, на уроке. И даже имело смысл говорить. Говорить о том, что думаешь.

Мы едва ли не целый год занимались на уроках «Войной и миром». Сцена за сценой, том за томом. Мы отчасти даже бредили героями Толстого, вечерами подолгу висели на телефонах по довольно странному поводу — пытались проникнуть в мысли, чувства, отношения Наташи, Андрея, Пьера…

А тут еще в наш класс пришла новенькая, и как раз Наташа. Наши литературные разговоры стали приобретать рискованный крен.

— А как же остальная школьная программа? Как вы все успеете? — робко поинтересовалась мама на родительском собрании (ей бы уже о другом беспокоиться).

Феликс, которого наверняка спрашивали об этом не в первый раз, величественно ответил:

— Если они разберутся в «Войне и мире», то разберутся и во всем остальном…

Под «всем остальным» Раскольников подразумевал литературу. Она была для него и всем и остальным.

Как-то уже перед выпуском Феликс посоветовал прочесть только появившуюся в «Новом мире» повесть Василя Быкова «Сотников» про белорусских партизан. Там главный герой в предсмертных обстоятельствах говорит напарнику: «Не лезь в дерьмо — не отмоешься». Почему-то именно эта простая (даже слишком) формула как заноза застряла в голове. И до сего дня помогает делать однозначный выбор в сложных (даже слишком)

жизненных обстоятельствах.

Одна характерная особенность нашего литератора была известна всей школе. «Отлично» он готов был поставить, пожалуй, только непосредственно Льву Толстому, себе самому — от силы четыре балла, ну а несмышленышам-ученикам…

Приходилось, конечно, учитывать реалии, идти на трудный компромисс, ставить нам иногда за ответы и даже за сочинения четверки, а то и пятерки. Но делал это Феликс всегда с долгими размышлениями, мучениями и сомнениями.

Все в нем этому сопротивлялось, и прежде всего искреннее шестидесятническое стремление к идеалу, неистребимая вера в высшую гармонию мира и человека.

«Идеал есть гармония» — это он твердил постоянно, к этому сводил в итоге все наши дискуссии и обсуждения на уроках.

Два года спустя, на нашем школьном последнем звонке, мы подарили ему могучее сооружение на эту тему.

К деревянному постаменту была прибита затейливо скрученная колышущаяся металлическая лента. Это была гармония, внутри которой на цепочке трепыхался идеал в виде куска прозрачного темно-красного плекса. Позднее подобные штуковины искусствоведы назовут мобилями. Теперь они колышутся во всех уважающих себя музеях современного искусства.

Сохранилась фотография момента вручения. Мы стоим на сцене с Наташей, Яном и этим мобилем.

Там, на сцене, и все наши учителя — молодые, хохочущие, счастливые, живые…

Класс

Вторая школа (типовая послевоенная постройка на задворках универмага «Москва») была элитой школьной Москвы. Но наш класс не был элитой Второй школы. Элиту не обозначают сомнительной литерой Ж.

Мы пришли из своих школ отличниками, звездами, а здесь выглядели так себе, первые месяцы многие опасались попросту вылететь из школы. Причем не вследствие какого-нибудь там буйства молодецкого, а тихо и бесславно — не сдав очередной зачет.

Тон молодецкого буйства задавали другие — десятые, выпускные. Они были постарше, поярче нас, больше нашего пили-гуляли, чаще побеждали на олимпиадах, играли главные роли в школьном театре, в столовой, в спортзале. А в довершение всего летом чуть не поголовно поступили в МГУ.

В нашей параллели самыми умными справедливо считались бэшники, они были старожилами, даже застали легендарных Гельфанда, Дынкина, Якобсона. И тем не менее для меня центром школы, града, мира стал мой не самый казистый класс «Ж». Хотя проучились мы вместе всего-то два года.

Да и годы, выпавшие на наше второшкольное отрочество, оказались не ахти. Мы пришли в школу в том самом 68-м, когда советскими танками в кровь раздавили Пражскую весну, а с ней и все надежды наших учителей-шестидесятников, рыцарей недолгой оттепели.

В стране началась тоскливая и бездарная реакция, гонения на «инакомыслящих» (гэбэшное словцо). И происходило это не где-то там, а тут же, рядом. *Инакомыслящий* Якобсон, преподававший историю, а затем литературу, был вынужден уйти из школы, следом за ним — и собравшийся на одноименную историческую родину математик Израиль Ефимович Сивашинский. Но это никого и ничего не спасло.

А пока мы съезжались в школу из разных концов города, из очень разных семей. Публика в классе сошлась разношерстная. Были и совсем чудаковатые — как без них в школе с математическим уклоном? Конечно, над ними пошучивали. Но не злобно.

Поскольку жили мы по всей Москве, бичом школы были опоздания.

— Генкина! — говорил Риммочке, чемпиону класса по опозданиям, отвечавший за ловлю нарушителей завуч Фейн. — Я тебя выгоню из школы!

И когда от Риммы не оставалось уже решительно ничего живого, добавлял:

— И не на один день!

На взывавшую к милосердию традиционную реплику нарушителя, что Толстой, мол, детей любил (намек на то, что наш завуч вообще-то был известным специалистом по Льву Толстому и даже выпустил о нем умную книжку), Фейн отвечал неизменное: «Я толстовед, а не толстовец!» — и заносил фамилию нарушителя в грозный кондуит.

В классе мы неожиданно снова пересеклись с Сашкой Кауфманом, с которым не виделись со времен дошкольной группы в саду Советской армии. Правда, пересеклись ненадолго. Вскоре его выгнали из школы. С треском.

Тут есть две версии. По официальной — за то, что он залез на высоченную осветительную вышку стадиона Дворца пионеров, где проходили наши уроки физкультуры. После чего уроки там уже не проходили — школу перестали пускать на стадион, а Кауфмана из школы исключили.

По нынешней Сашиной версии, выгнали его совсем за другое — за свободолюбие. За статью про чехословацкие события в нашей стенгазете «Сопли и вопли». Поскольку такой поворот отбрасывает некую героическую тень и на меня, тогдашнего редактора нашего классного настенного издания, оставим Саше полвека спустя его романтическую версию. Согласитесь, так красивей.

После всех уроков, кружков, встреч, лекций и факультативов надо было все-таки разъезжаться по домам. Мы запихивались в автобус, в тесном общении долго тащились до метро «Октябрьская», где в складчину покупали большой пакет пончиков. Завороженно смотрели, как чудо-автомат меланхолично выплевывал пончики один за другим, как продавщица обильно посыпала их сахарной пудрой, — и, наконец, выхватывая друг у друга, обжигаясь, мы пожирали эту вредную гадость.

Когда денег оказывалось чуть больше, шли в ближайшее кафе-мороженое с невинным названием «Снежинка» и бухлом из-под полы. Или заваливались к тем, у кого квартира была побольше, родители попокладистей. К Риммочке, по сей день собирающей нас все в той же квартире на Садовом кольце, у Маяковки. К Джамиле Кадырбаевой, папа которой был советской шишкой-нацкадром, и в их помпезном доме на Фрунзенской всегда таилось что-нибудь вкусно-дефицитное.

Естественные желания юных организмов поесть и пообщаться удачно совмещались и в наших коллективных завтраках. На

большой перемене мы бежали не в школьную столовую с ее бледными коржиками и бурым компотом, а в наш кабинет физики на пятом этаже, где ставили чайники и вываливали на сдвинутые столы кто что из дому принес — бутерброды, пирожки, яблоки.

Неразлейвода дружбой наше совместное раздолбайство, пожалуй, не назовешь. Точнее тут будет слово *дружество* (копирайт: Пушкин).

Такое дружество вообще-то не свойственно элитным спецшколам. И во Второй оно не было повсеместным. Там тоже постоянно и ревниво чем-то мерялись (уже не в сортире) — рискованным вольномыслием, эрудицией, результатами олимпиад, любовными интригами. Даже модными штанами.

Самыми хипповыми считались тогда техасы (предтечи нынешних джинсов). Их привозили из-за бугра, продавали на черном рынке. Когда я явился в таких техасах, школьный пижон по прозвищу Спас (ныне академик С. А. Недоспасов) смирился с этим скорбным фактом, только когда получил заверения Джамили, что техасы все-таки не американские, а так себе, польские. К лету из крутых польских штанов я безвозвратно вырос.

На пачках черно-белых фотографий, запечатлевших разные сиюминутные фрагменты нашей бесшабашной жизни, мы всегда улыбаемся. Видно, нам и впрямь было хорошо. Фотографии потускнели, детали стерлись, но это видно.

Снимков у нас такое множество благодаря Сергею Шугарову, который щелкал беспрерывно и раздавал фотографии пачками. Но славен он другим.

Сережа еще школьником открыл новую звезду. Параллельно ту же звезду открыл ученый американец (нет, японец) и первым опубликовал сообщение об этом в научном журнале. Хотя, как потом выяснилось, Сережа сфотографировал звезду раньше. СССР и Япония долго выясняли отношения — им не привыкать. А потом звезда погасла.

Студентом наш Шугаров открыл еще одну звезду. Тут уже не выдержал Андрей Вознесенский и написал про Сергея целую романтическую балладу о том, как звезда «явилась стажеру без роду и племени». Упоенный студент из баллады получился больше похожим на самого́ известного поэта, нежели на нашего Шугарова, типичного интроверта, иногда странного в общении и поступках, который сидел ночи напролет на крыше дачи и снимал звездное небо.

Пламенная страсть? Призыв к мирозданию? Одинокий голос человека?

Классный

Нашего классного руководителя Якова Васильевича Мозганова даже между собой мы звали уважительно, по имени-отчеству, но слипшемуся в одно слово — Яквасилич.

Учил он нас физике. Математика всегда воспринималась мной как наука гуманитарная, подчиненная законам красоты и логики, и на этом языке я изъяснялся свободно, без акцента. А вот физику и прочие естественные науки никогда не понимал. Ну вот почему лампочка горит? Потому что ток течет? Может, и течет (не видел), ну а лампочка-то почему горит?

Это семейное. Когда нужно было зарядить аккумулятор, мы втроем с ученым-математиком папой и ученым-математиком братом долго спорили, как правильно втыкать штепсель в розетку: плюс к плюсу или же плюс к минусу?

Тем не менее Яквасилич, опытный репетитор, натренировал меня решать навороченные вступительные задачи так, что я смог вполне пристойно сдать физику в МГУ.

Классный тоже нередко опаздывал к началу занятий, мчал на первой попавшей под руку машине, по дороге подбирая на автобусных остановках опаздывающих второшкольников. Те же, кто просочился в школу вовремя, азартно делали ставки, на чем сегодня приедет Мозганов: на частнике, ментовке, пожарной машине или «скорой помощи». «Скорая» почему-то любила его больше всех.

Никакие наши проделки не могли вывести Яквасилича из его невозмутимо-позитивного состояния. Вот он произносит в начале урока дежурное:

— Здравствуйте, садитесь! — и слышит в ответ:

— Не ся-а-адем!

Надо начинать урок, а мы стоим. Не понимая, в чем дело, он говорит примирительно:

— Ладно, садитесь!

В ответ класс еще стройней выводит:

— Не сме-е-ем…

Не знаю, сообразил ли он, откуда цитата (из «Тени» любимого нами тогда Шварца), но сказал все так же добродушно:

— Ну ладно-ладно, садитесь!

Мы ответили по Шварцу:

— Ну так уж и быть… — и уселись — довольные и потому готовые грызть гранит.

Испытывали мы Яквасилича на прочность не раз и не два. Однажды он вошел в класс, начал урок, не заметив, что

привычный ряд портретов великих физиков пополнился еще одним, нарисованным прямо на стене вместе с пышной рамой, кривым гвоздем и табличкой «Я. В. Мозганов». Потом увидел, на миг остолбенел, оценил, разулыбался и еще долго демонстрировал это творение всем приходившим к нему на уроки.

В зимние каникулы мы всем классом поехали в Литву. Я договорился с Фаней, учителем литературы из Каунаса и дочкой друзей моих родителей, что мы поживем у них в школе, а потом примем ее с ребятами в Москве.

Мы честно выполняли культурную программу, ходили во всевозможные музеи Вильнюса, Каунаса, Тракая, но время от времени нас, как и всех тинейджеров, поражала эпидемия какой-нибудь достаточно идиотской игры. В Литве это были «толкалочки». Стоя попарно как вкопанные друг против друга, упираясь ладонями в ладони визави, мы старались столкнуть напарника с места (еще интересней, если напарницу). Кто устоял в сей жизни трудной — тот и выиграл. Сохранились шугаровские фотографии, где Яквасилич, взрослый мужик, учитель и отец семейства, азартно играет с нами в эти «толкалочки».

Или более поздняя, но не менее дурацкая эпидемия эквилибра указки на носу. Мы тренировались все перемены подряд и даже после уроков. Если бы кто посторонний зашел в это время в кабинет, его представления о школе для одаренных физматов сильно бы пошатнулись. На очередной шугаровской фотографии Яквасилич на первом плане, задрав голову, как Бродский на московском памятнике, изо всех сил старается удержать на своем горбатом носу указку, скаля от напряжения зубы. А на заднем плане мы — за тем же содержательным занятием.

Классный вообще всегда был вместе с нами, охотно включался в наши коллективные трапезы, рискованные авантюры и самые бредовые затеи. Настолько, что мне не без труда удалось разделить рассказ про класс и про классного на две отдельные главки.

Вернемся в Литву. Оттуда мы вдруг сорвались в незапланированную Ригу. Купили самые дешевые билеты, влезли в битком набитый общий вагон и сразу отключились, уснули сидя и даже стоя (умотались). Мне удалось найти даже лежачее место, но на третьей, технической полке. Вдоль всей полки тянулась толстая труба, я был худ, решил, что умному достаточно, буду спать, держась за эту трубу. Однако труба оказалась отопительной. Держаться за нее было очень горячо, во сне я разжал объятия и с грохотом свалился в проход. Обошлось без

увечий, но до сих пор мне иногда снятся эта раскаленная труба, бездонная пропасть под узким козырьком полки и я — на краю.

Нашей вожделенной целью было море. Замерзшее зимнее море — такого никто из нас никогда не видел. Башню снесло сразу и у всех, включая классного руководителя. Мы бегали по морю как пьяные, переполненные неизъяснимым блаженством, удаляясь все дальше и дальше от берега, пока за нами не примчались два мента на мотоцикле. Вежливо, с жестким балтийским акцентом сообщили, что запрещено, опасно, мы можем провалиться (а они вдвоем на мотоцикле?). Мозганов не то заплатил штраф, не то их уболтал. Счастливые, мы побрели к берегу.

Когда ребята из Каунаса приехали на каникулы в Москву, выяснилось, что наша Фаня — не только учитель литературы, но и лучшая пионервожатая Литовской ССР, углубленно изучающая с учениками биографию Дзержинского. Да и ладно бы, чего в жизни не бывает, но на Красной площади, куда мы толерантно сопровождали дзержинцев-переростков, одна девица разрыдалась прямо на могиле железного Феликса. До натуральной истерики. Я не знал, куда деваться.

А в той литовской поездке с нами была еще и юная жена Мозганова, немногим старше нас, — не знаю, какая по счету. Не знаю толком, сколько их всего ($\geq$ 5?). Еще больше у него детей. Со всеми, по-моему, он в хороших отношениях. Если на какой-нибудь тусовке ко мне подходит незнакомая девушка и говорит: «Здравствуйте, я дочка Якова Васильевича, вам от него привет», — я не удивляюсь. Удивляюсь, если давно от нашего классного нет таких приветов.

Бегемот и другие

Мы поступили все же в математическую школу, и математики у нас было очень много.

Нас учили самой что ни на есть высшей математике — согласно или уже не во всем согласно идеям создававшего математический профиль школы И. М. Гельфанда, одного из крупнейших математиков столетия. Гельфанда мы в школе уже не застали, но следы его пребывания еще были заметны.

Лекции нам читал (и кстати, неплохо) профессор-математик по прозвищу Вовуля. Приходил он на лекции в разной степени поддатости, а когда перед выпуском понадобилась его подпись на рекомендации в МГУ, Вовуля исчез вовсе. На след меня навели студенты, и я настиг его у стойки ресторана «Гавана».

Сами студенты вели у нас семинары. На семинарах кто хотел — учился, кто не очень — не очень. Наши девчонки кокетничали со студентами напропалую, особенно на зачетах по математическому анализу. Студенты были с мехмата, лишь на два-три года старше нас, они терялись, смущались, краснели и практически сразу отпускали коварных девиц с заветными «зачетами». А мы сидели часами, мучились, решали трудные задачи, незаметно смахивая с изможденных лиц скупые мужские слезы.

Уроки по школьной математике вел флегматичный учитель Алексей Петрович Ушаков, которого все именовали Бегемотом — и точнее его не назовешь. Дело тут не только в изрядном внешнем сходстве. Грузный и грозный, иногда Бегемот бывал даже добродушен, даже остроумен, но добродушен и остроумен именно так, как может быть добродушен и остроумен бегемот.

Задавал он помногу, между номерами домашнего задания любил ставить не запятую, а тире. На попытки оправдаться, что просто не успел сделать все, что задано, произносил неизменное: «Не успел — значит, неуспевающий».

В теорию Бегемот особо не углублялся. Наличие аксиоматики объяснял незатейливо: «Что-то надо же принять за очевидный факт». Готовил нас к поступлению занудно, но достаточно эффективно. Особенной любовью у него пользовалась не менее, чем он сам, занудная книжка «Логарифмические и показательные уравнения и неравенства» автора со смешной фамилией Бородуля, личным знакомством с которым Бегемот гордился и, задавая из этого Бородули очередную порцию задач, обязательно называл его по имени-отчеству.

Особенности мышления и поведения матшкольников редко

ставили толстокожего Бегемота в тупик. Но бывало — как в истории про Зацмана и рубль…

Середина урока математики, Бегемот чинно плывет меж рядами парт, диктует условие задачи. Открывается дверь. Входит опоздавший Зацман.

Здоровый, немногословный и невозмутимый Зацман (ныне доктор наук) обладал одной характерной особенностью. Если можно было найти иное толкование условия задачи и — соответственно — совершенно другое ее решение, которое не предполагалось ни учителем, ни авторами, Игорь именно его и находил. Это было бы солидным бонусом, а не проблемой, если бы Зацман одновременно находил и подразумевавшееся авторами общедоступное толкование условия вместе с тривиальным решением. Но это Игорь видел далеко не всегда.

И вот погруженный в себя Зацман молча проходит от двери к столу учителя. Все так же молча, ни на кого не глядя, он кладет на классный журнал рубль и неторопливо направляется к своему месту.

Класс замер. Даже Бегемот онемел.

Рубль по тем временам — это не так много, но и не так мало. Примерно как сейчас сотня… Но дело, конечно, не в самом рубле. Никто не находил объяснения происходящему. Но, зная Игоря, мы понимали, что объяснение есть.

— Что это? — указывая пальцем, но не дотрагиваясь до купюры, с брезгливым ужасом спрашивает Бегемот.

— Рубль, — отвечает Зацман. Как и положено математику, он дал ответ абсолютно точный, но никак не проясняющий реальную ситуацию.

Бегемот, естественно, воспринял ответ как издевательство.

— Немедленно заберите! — грозно рычит Бегемот.

— Не заберу, — отвечает Зацман.

— Нет, заберите! — Бегемот выходит из себя.

— Не заберу, — все так же спокойно говорит Зацман и, наконец осознав, что почему-то не всем все происходящее понятно, добавляет: — Он не мой.

После долгих препирательств выяснилось, что рубль лежал под дверью, и последующие действия Зацмана были по-своему очевидны, но только в его системе координат. Он увидел этот злополучный рубль, поднял, в карман не спрятал (честный), а положил на стол учителя — может, кто будет искать. То, что эти абсолютно логичные манипуляции требуют каких-то пояснений, ему в голову прийти просто не могло.

Почему именно этот эпизод запомнился до мельчайших подробностей? Бог весть. Больше про Бегемота вроде и вспомнить

нечего. Однако в учебнике биологии справедливо отмечено: «Несмотря на широкую известность, во многих отношениях бегемот изучен недостаточно». Много позже я узнал, что под доносом на школу стояла подпись и нашего Бегемота.

Только влюбленный

Учился я легко и охотно, но не этим были заполнены мои мысли, чувства и дни. Все-таки Вторая школа случилась в моей жизни в период активного полового созревания, так что два последних школьных года я находился в перманентном состоянии влюбленности разной степени интенсивности.

А тут еще на уроке литературы нам сообщили, что «только влюбленный имеет право на звание человека». Блоковская гипербола была воспринята буквально. Очень хотелось иметь право. Очень.

Через пару недель после начала занятий — нет, уже ближе к октябрю — в нашем классе появилась новенькая. Звали ее Наташа Зорина. Новенькой она была для нас, но не для школы, где уже успела поучиться в седьмом и восьмом классах и чуть не во всех литерах от А до Я.

Наташина мама, Людмила Яковлевна, преподавала в школе физику и очень переживала, что дочка не горела особенно ни физикой с математикой, ни легендарными лекциями по опальной литературе Серебряного века. На олимпиады Наташа тоже не рвалась, зато выиграла районные соревнования по бегу.

— Что ты так переживаешь, — сказал как-то Людмиле Яковлевне на перемене в учительской Анатолий Якобсон, который эти самые опальные лекции и читал, — красивая девчонка, пускай бегает!

Но Людмила Яковлевна не переживать не умела.

Наташу все это достало, и она в очередной раз окончательно и бесповоротно решила из школы уходить. Тут переживаниями Людмилы Яковлевны проникся не только Якобсон, но и ее новый коллега — тоже учитель физики Яков Васильевич:

— У меня хороший класс, давайте ее к нам!

Наташа согласилась посидеть в новом классе пару дней перед уходом из школы, не подозревая, что этот случайный разговор во многом определит ее жизнь. И не только ее.

Яков Васильевич привел Наташу в класс, представил, и она села за последнюю парту, у окна (похоже на плохое кино, но правда). Якобсон не врал — Наташа действительно была самой красивой девочкой в школе.

В то время я был увлечен тонкими, ломкими, чуть угловатыми линиями женских образов раннего Пикассо и даже контрабандой водил экскурсии по французским залам Музея изящных искусств. Очевидное сходство новенькой с полупрозрачными девушками на любимых полотнах не могло не

подействовать. А поскольку в это время на уроках литературы мы упоенно читали «Войну и мир», даже имя Наташа показалось мне редким и удивительным.

Я тут же написал новенькой записку, пригласив участвовать в выпуске классной стенгазеты «Сопли и вопли». Спросил, умеет ли она писать заметки или рисовать. В довольно быстро прилетевшей ответной записке Наташа честно ответила, что она ничего не умеет — ни писать, ни рисовать, но в выпуске газеты примет участие с удовольствием. Мне бы вовремя обратить внимание на первую часть Наташиного ответа, но я был молод и неопытен, меня вдохновила часть вторая. Записку я показал Ленке Захарьиной, с которой тогда мы еще сидели за одной партой.

На этом сходство с романтическим кино завершается. Влюблялся я потом и в школьные и в студенческие годы налево и направо. Девочек в математических классах было, конечно, не так много. Зато в школе было много разных классов. А позднее, в МГУ, было много факультетов, включая гуманитарные. Тут же, неподалеку, поступившая на геологический Наташа крутила свои романы.

Тогда же появилась первая (если не ошибаюсь) публикация моих стихов — у Юры Щекочихина в «Алом парусе», где мы с Щекочем и познакомились. Больше этот трогательный опус я никогда и нигде не публиковал, но тут приведу:

Девятый класс. Вторая школа. Едва знакомы ты и я. В речах ни одного глагола, а только междометия. Из пункта Я летит записка, в пункт Ты врезается легко. Я улыбаюсь — как все близко, ты плачешь — как все далеко. Клочок от тех времен остался, источник света и тепла, и тот, похоже, затерялся в бездонных ящиках стола.

Поженились мы с Наташей позже, по окончании университета. Но это уже другая история. Собственно, не совсем еще история, поскольку длится по сей день.

А стихи я начал писать тогда же, в спецфизматшколе. Не мог не начать. Качество оценивать не будем, а вот если оценить количество написанного в школе в разных душевных обстоятельствах, то главной моей школьной любовью была, несомненно, Катя Франк из параллельного класса «Б». Кате я посвятил просто ворох всяческой рифмованной ахинеи.

Она была еще более тонкая и ломкая, практически прозрачная. Катя носила очки с очень толстыми стеклами, за которыми как в аквариуме плавали ее голубые водянистые глаза. Но даже эти очки не помогли ей вовремя разглядеть мою большую любовь во всем ее масштабе и трогательных

подробностях. Так что эту мою любовь следует признать не только главной школьной, но также трагической и неразделенной.

Хорошо помню момент, когда Катя, видимо, уже собралась было ее разделить. Мы сидели на скамейке на бульваре перед ее домом. Осень была прозрачной и зыбкой, Катя тоже. Почти бесплотной. Я обнял ее как положено и не знал, что делать дальше.

Нет, не буду лукавить — знал. Постижение плоти шло параллельно и довольно успешно. Но тут, на скамейке, мне это было как-то не важно, не нужно, ни к чему.

Зуд в крови оказался стихотворным.

В прошлом году, почти полстолетия спустя после описываемых событий, бродячий цирк из трех поэтов представлял большую антологию современной русской поэзии, вышедшую в Штатах. Мы выступали в Нью-Йорке и Чикаго, а завершалось все пафосным вечером в Вашингтоне в Библиотеке конгресса с участием министра их культуры.

На наше представление в библиотеку пришла проживавшая неподалеку Катя Франк. Я не сразу ее узнал, хотя она мало изменилась.

Не было только очков с толстыми стеклами — и не стало чуда аквариума с плывущими водянистыми голубыми глазами. Наверное, вместо очков были современные незаметные линзы.

После выступления все покупали антологию, а мы ее витиевато надписывали. Катя тоже купила.

Зоя

В начале второй четверти я уже вполне освоился и наловчился вбегать в школу ровно в тот момент, когда звенел звонок на урок. Но на этот раз в вестибюле, как назло, было аж два завуча.

Помимо Фейна, привычно ловившего опоздавших, вдали возвышалась Зоя Александровна Блюмина — монументальная, грозная и ехидная дама, которая почему-то была завучем по специальным предметам, по физике и математике, хотя сама преподавала литературу. Впрочем, школа была в целом настолько удивительная, что такие мелочи уже не удивляли.

Пытаясь как-нибудь понезаметней просочиться на урок, я продвигался вдоль стенки, всячески стараясь с ней слиться.

— Сволочь! Подонок! — услышал я за спиной грозный, скрипучий, такой характерный Зоин голос.

Я оглянулся. Кроме меня и Фейна, в вестибюле уже никого не было.

Едва ли Зоя так обращалась к Фейну. Неужели это за опоздание?

— Это вы мне? — спросил я тихо и безнадежно.

— А то кому?

— А что случилось, Зоя? — осторожно спросил Фейн.

— Ты представляешь, этот подонок, — голос ее потеплел, — эта сволочь, — голос ее стал еще мягче, — написал на районной олимпиаде по литературе, что портрет Льва Толстого работы Николая Ге отдает развесистой клюквой!

Фейн (напомню: автор книги о Толстом) с искренним интересом повернулся ко мне:

— А почему вы так считаете?

В предвкушении культурологической дискуссии он даже перешел со мной на «вы», забыв на миг, что его дело — влепить мне за опоздание и отправить на урок.

Я стал путано припоминать свои резоны, но Зоя прервала этот жалкий лепет:

— Герман, да какая разница! Из-за этого Ге, — тут Зоя сделала выразительную паузу, — ему дали вместо первого третье место и не отправили на городской тур.

— Но я так считаю! — сказал я все так же тихо, но твердо, ввиду безысходности решив не поступаться принципами.

— Все-таки проясните свою позицию, — вякнул было Фейн, но под грозным Зоиным взором умолк окончательно.

— Пошел на урок, подонок, — послала она меня с искренней

нежностью в голосе.

И я поспешил выполнить ее послание.

Во Второй математической школе собралась блестящая плеяда литераторов. Помимо Зои — Фейн, Камянов, Збарский, Ошанина, Тугова, наш Феликс Раскольников. Я не раз бывал на уроках у каждого из них. При этом прогуливал какие-то свои уроки. Едва ли такие странные прогулы бывают в других школах.

Каждая из школьных литературных звезд сверкала по-своему, и я завороженно слушал их монологи. Зоиных монологов не помню (может, их и не было). На ее уроках говорили все, причем все сразу, а она в своей фирменной ироничной манере походя вытягивала из этого общего гула то самое существенное, что и составляло суть урока. Не прерывая беседы о прекрасном, Зоя успевала дать отрезвляющий подзатыльник отвлекшемуся от высокого полета мысли, а то и взять нарушителя конвенции за шиворот и выкинуть из класса…

Перемена. Солнце на небе. Весна на дворе. Очередная комиссия в школе. Наташа в ярко-красном вельветовом платье спускается по лестнице, а навстречу поднимается рыжая Зоя, одетая в свои любимые желто-зеленые цвета (желтая кофта, зеленая юбка).

— Наташа, ты похожа на пожарную машину! — мрачно говорит Зоя, очевидно раздумывая, не отправить ли ее домой переодеваться. Все-таки школьная форма была обязательна для каждой советской школы.

— А вместе вы похожи на светофор, — радостно встреваю я в разговор, пролетая мимо них.

— Сволочи! — Зоя безнадежно улыбнулась, махнула рукой и пошла дальше. Она лучше многих понимала, что даже если Наташа явится в трогательном школьном фартуке с ангельскими крылышками, едва ли это спасет школу.

Фантомас

Учитель географии Алексей Филиппович Макеев был абсолютно лыс, что неизбежно обрекало его на прозвище Фантомас. Но облику популярного тогда загадочного кинозлодея он соответствовал не только лысиной.

На уроках Фантомаса всегда было тихо (дисциплина) и всегда было темно, поскольку он постоянно показывал учебные фильмы. Проштрафившихся — тех, кто опаздывал, разговаривал, отвлекался, не отвечал на вопрос, — он заставлял рисовать бессмысленные контурные карты.

Благодаря железной дисциплине мы успевали за урок сделать очень много таких абсолютно бессмысленных вещей — например, в темноте под стрекот допотопной киноустановки подробно конспектировали учебные фильмы. Штрафные контурные карты (типа «Тяжелая промышленность Алтайского края») мы срисовывали друг у друга перед уроком в технологии «на просвет»: на оконном стекле накладывали свою слепую карту на образец. Получалось кривовато, но сходило. Я едва ли запомнил что-то из такого курса географии, а Фантомас едва ли знал, как меня зовут.

Железная дисциплина, система штрафов, неизбежность и бессмысленность наказаний были не случайны. Школьная молва донесла, что Филиппыч — бывший политзэк — прошел ГУЛАГ (та самая 58-я, где про врагов народа). Это добавляло уважения, понимания, но не любви.

Заодно это добавляло уважения и к нашему грозному директору Владимиру Федоровичу. Кто еще рискнул бы взять бывшего политзэка учить детей?

Позже, уже в мои студенческие годы, в самиздате появился солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ». Одновременно его читали по радио, по *вражьим голосам,* — главу за главой. Глава двенадцатая была посвящена Кенгирскому восстанию заключенных. Врубали все глушилки, приемник трещал, шипел и чихал, но все же мы расслышали, что А. Ф. Макеев, наш географ, наш Фантомас, был участником (и даже руководителем) «сорока дней Кенгира» — одного из самых крупных восстаний в истории ГУЛАГа, которое подавили в самом прямом смысле этого слова — гусеницами танков. Погибло более шестисот человек, остальных отправили в такие места, откуда не возвращаются. Руководителей расстреляли.

О роли Макеева, одного из избранных политзэками руководителей, в самый разгар восстания перешедшего на

сторону лагерного начальства, Солженицын пишет со всей своей неистовой страстью и праведным гневом. При этом ссылаясь на записки самого Макеева.

Записки эти о ГУЛАГе Фантомас показывал нескольким приближенным выпускникам, но после появления «Архипелага» свои мемуары он сжег (говорят, один экземпляр остался).

Что происходило с Филиппычем тогда в Кенгире? Что это было? Трусость? Предательство? Попытка спасти людей в абсолютно безнадежной ситуации? Все одновременно? Сегодня есть немало исследований, посвященных героической и трагической истории Кенгирского восстания, нет только ясности. И едва ли она возможна.

В нынешней Википедии обо всем этом сказано коротко, сухо, без оценок и затей:

3 июня 1954 года А. Ф. Макеев покинул восставший лагерь и перешел на сторону администрации, состоялись довыборы руководства восстанием, на место Макеева был избран Семкин.

Когда я слушал, а потом читал «Архипелаг», это казалось делами далеких страшных лет. Но Кенгирское восстание бушевало в год и даже в день моего рождения, а когда Фантомас учил нас географии, мне было всего-то пятнадцать лет. Это была не история, это было только что, вчера.

В начале войны линейный трибунал осудил гр. Макеева А. Ф. на полную катушку за то, что, возвращаясь из-под Ельни, он в поезде сказал случайному попутчику, что «дела идут неважно, мы отступаем». Солженицын в «Архипелаге» вынес Макееву свой не менее линейный и однозначный приговор, вынес — на весь мир. Для одного человека, одной судьбы более чем достаточно. Пожалуй, перебор.

В год нашего выпуска Фантомас поставил свою подпись под доносом на Вторую школу — рядом с подписью Бегемота.

Вскоре после разгрома школы и выхода на Западе «Архипелага» Алексей Филиппович Макеев покончил с собой. Бог ему судья.

Лишние хромосомы

Биологию у нас вела Ирина Абрамовна Чебоксарова. Неуклюжая, незлобивая, не от мира сего, она походила на пожилую профессорскую жену из кинокомедии. Каковой, собственно, и была.

Своего ученого супруга она умудрялась приплести к любой учебной теме. «Мой муж, замечательный профессор Чебоксаров… — без этого запева не обходился ни один наш урок биологии. Потом она держала мечтательную мхатовскую паузу и с отрешенной значительностью уточняла: — Николай Николаевич…»

Изредка она вспоминала, что кроме рассказа учитель должен вести опрос. Что именно с нас можно спросить, баба Ира (как ее называли) не представляла, ее вопросы заставали врасплох как содержанием, так и формой.

— Лишние хромосомы — это вам не что? — с таким вопросом однажды на уроке она обратилась ко мне.

Я не слышал, что она говорила до того, но едва ли это помогло бы. Несмотря на большой школьный опыт ответов на любые вопросы, я решительно не знал, что ответить на вопрос «Это вам не что?».

— Садись, Бунимович, медленно соображаешь, — с искренним сочувствием сказала баба Ира и уже совсем другим голосом, нежно обратилась к моей соседке по парте Марине Мдивани, любимице всей школы: — Мариночка, лишние хромосомы — это вам не что?

Озадаченная Мариночка тоже растерялась:

— Я что-то сегодня тоже медленно соображаю, Ирина Абрамовна.

— Садись, — укоризненно сказала баба Ира и с пафосом изрекла: — Лишние хромосомы — это вам не шуточки!

И ведь действительно — не шуточки.

Весной мы регулярно уговаривали Ирину Абрамовну проводить уроки биологии ближе к природе — в скверике возле школы. Там при всем желании невозможно было услышать, о чем она нам увлеченно рассказывала, да никто особенно и не пытался. Зато можно было сбегать за фирменным мороженым в стаканчиках, которое во всем городе продавалось только в двух местах — в ГУМе и у нас в универмаге «Москва».

В конце такого урока на природе Ирина Абрамовна выставляла отметки.

— Соловейчик, близко сидел — «пять».

— Ярин, далеко сидел — «четыре».

— Кадырбаева, на качелях качалась. Ну, — она задумывалась, — тоже «четыре».

— Соколов и Попов, за мороженым бегали — «три».

«Неудов» баба Ира не ставила никогда.

Постоянно видели мы и замечательного профессора Чебоксарова (Николая Николаича). Каждый день он встречал бабу Иру после уроков у дверей школы. Юность безжалостна, и мы вовсю потешались над этой забавной немолодой парой.

Однажды я увидел из окна нашего кабинета физики, как они вдвоем медленно, осторожно, под руку шли домой по заметенному снегом школьному двору. И сердце сжалось (именно так) от странной нежности. Что, впрочем, никак не помешало продолжать потешаться над безобидной бабой Ирой на ее уроках.

Уже поступив в МГУ, обнаружил в университетской лавке книжку «Народы, расы, культуры» знакомых авторов — Чебоксарова Н. Н., Чебоксаровой И. А. Так я узнал наконец, чем же занимался замечательный профессор (этнограф!) Николай Николаевич Чебоксаров.

Полвека спустя этнокультурная идентичность стала ключевым русским вопросом. На недавней неполиткорректной дискуссии в модном клубе один мерзавец громил авторов той самой книжки — чету Чебоксаровых, акцентируя внимание не столько на замечательном профессоре, сколько на отчестве нашей Ирины Абрамовны.

Он брызгал слюной во все стороны все обильней, поскольку никак не мог взять в толк, почему я с моим идентичным бабе-Ириному отчеством в ответ только блаженно улыбаюсь.

А я и не слушал, что еще он там несет. Я вспоминал бабу Иру, наш класс, уроки в весеннем скверике, божественный вкус пломбира из универмага «Москва». Благодаря ему, козлу драному, я получил неожиданный привет из прекрасной моей школьной юности.

Непомнящий

После уроков в школе всегда что-нибудь происходило.

В школьном кинотеатре крутили опальные фильмы, которые Мишка Райгородский пусть сам расскажет, где добывал. Наведывались гости — Гелескул читал свои переводы из Лорки, Митта показывал только что снятый лучший свой фильм «Комедия об Искремасе», а до того еще и Окуджава приезжал. На репетиции школьного театра, где ставили нечто из поэтов Серебряного века, можно было послушать, как Юля Розенфельд резким, противным голосом блестяще читает блоковские «Двенадцать», Зацман старательно изображает Маяковского, а Джамиля с Мариной Мдивани без устали горланят «Конфетки-бараночки», которые тоже почему-то находились под запретом. В спортзале играли в волейбол — команда учеников против команды учителей, у Фантомаса готовились к соревнованиям по спортивному ориентированию, ну и, конечно, повсюду шли семинары и факультативы по математике-физике. А еще можно было в соседней «Снежинке» поговорить за жизнь.

Когда объявили, что в школе будет еще один факультатив — по Пушкину — и вести его будет литературовед со смешной фамилией Непомнящий, это не произвело на нас особого впечатления.

Правда, Пушкин тогда был не просто поэтом, пусть и великим. Бога в стране отменили, советский иконостас вызывал неизбежный рвотный рефлекс, и Пушкин в атеистическом отечестве стал воистину альтернативным божеством (нашим всем). Книги о нем сметали с прилавков, в Михайловское стекались толпы паломников, самодеятельные пушкинисты составляли житие поэта в поминутном режиме, а все нюансы поведения Натальи Николаевны обсуждались шире, чем сегодня скандальные браки-разводы телепопсы.

До нас донеслось, что Непомнящий вроде как тоже в опале, что его не печатают, даже из партии выгнали. Все это, конечно, создавало вокруг нового учителя некий романтический флер. Однако в сравнении с другими нашими учителями подробности биографии Валентина Семеновича казались достаточно вегетарианскими.

Мы собрались в видавшем виды и многих знаменитостей потрепанном актовом зале. Ждали всего и готовы были на все — от лихого панибратства в духе *ну-что-брат-пушкин* до мемориальной почтительности гражданской панихиды, о которых впоследствии с равной брезгливостью говорил нам на лекциях

Непомнящий. Но даже всегда принимаемых на ура, а тогда практически обязательных политических намеков («Зависеть от царя, зависеть от народа…») в его завораживавшей речи не было. Больше пристального чтения «Онегина» запомнился неожиданно взрослый парадоксальный анализ пушкинских сказок, знакомых наизусть с дошкольных времен.

Половина наших девочек и учительниц в той или иной степени была в Непомнящего влюблена. Тут посещаемость была стопроцентной. Наташа им всем искренне сопереживала и старательно сканировала во время лекций, на кого, сколько и как он смотрел.

Мужская часть аудитории обращаться в пушкинианство оказалась не готова, но ходили мы тоже исправно. После одной из лекций я подошел к Валентину Семеновичу и ехидно спросил, почему он постоянно говорит «в этой гениальной строке Пушкина». Разве у поэта не было слабых, проходных строк? И привел, на мой взгляд, вполне убедительные примеры.

Мы охотно общались после окончания занятий, и общение было легким и взаимоироничным, но тут Непомнящий ответил неожиданно серьезно и даже торжественно:

— В этой гениальной строке — потому что это строка гения.

Тут важно не то, согласен ли я с его формулой. Важней, что я запомнил ее дословно, как и религиозную убежденность ответа.

В интернете обнаружился текст недавнего выступления В. С. Непомнящего в Кремле при вручении ему госпремии. Начал читать с некоторой опаской. Столько лет прошло, а вдруг и он туда же, вдруг увижу нечто в духе «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Вроде как и к месту.

Но нет. Я читал строгие его слова о бедственном положении русской культуры. Непомнящий остался верен себе. А значит — и нам.

Северный поход

Едва ли бы мы все ломанулись еще и на факультатив по древнерусской архитектуре, который вел учитель истории параллельного класса Густав Александрович Богуславский, если бы не намечавшийся чуть не на все летние каникулы грандиозный поход по русскому Северу.

Это было время, когда после долгого забвения заново открывали мир икон и фресок, церквей и монастырей. В этом повальном увлечении интеллигенции взрывоопасно смешались мучительные духовные поиски и гитарно-палаточная романтика турпоходов, диссидентство и мода. Всю весну мы осваивали специальный вокабуляр («поребрики», «кокошники», «закомары», «восьмерики на четвериках») и готовились к походу.

Высокий, жилистый Богуславский (прозвище Гусь) не владел искусством завораживать слушателей, зато он обладал невероятной памятью и уникальной эрудицией. В детстве Густав явно был вундеркиндом, таковым и оставался. К тому времени уже вышли его знаменитая книга очерков «Острова Соловецкие» (первая постгулаговская) и роскошный альбом «Память Севера» с множеством фотографий, которые почему-то убедили родителей в реальности наших планов.

Грандиозный поход требовал грандиозных приготовлений. С преисполненным ответственности Яном (командиром похода) стало невозможно о чем-либо говорить, кроме маршрута, снаряжения и эффективных способов борьбы с комарами. Помимо ночлегов, переходов, переездов, переплывов (предстоял и аварийный перелет, но об этом мы не подозревали), вставал ключевой в условиях советского тотального дефицита вопрос: а что мы будем есть? Через отдельных допущенных к кормушке родителей добывались дефицитные продукты. Часть мы тащили с собой, часть высылали в посылках самим себе в пункты намеченного маршрута.

В ходе подготовки мы перезнакомились и передружились с многоумными бэшниками, которые тоже собирались в поход со своим учителем истории Густавом. У них был и свой интересный словесник Збарский. На его уроке мне понравилось. Он увлеченно и увлекательно рассказывал и вообще их не спрашивал. В начале урока бэшники тоже читали стихи, такова была общешкольная традиция. Там я впервые услышал жесткие строки Ходасевича — спасибо Лене Васильевой (ныне профессор-кардиолог).

На полусотню школьников-походников по правилам положено три учителя. Помимо Густава и классного руководителя

9 «Б» Альбины Юрьевны никто гробить с нами пол-лета не соглашался. В конце концов удалось уговорить Людмилу Яковлевну, Наташину маму.

В походе мы с Людмилой Яковлевной много говорили, спорили, можно сказать, жили душа в душу. И куда все делось потом, когда она стала моей тещей? Трудно принять, что и твоя уникальная жизнь в общих чертах сводится к банальным формулам житейских анекдотов.

Собирали нас как в космос — понимали, что нигде ничего нет. Надежные ботинки, непромокаемые куртки. У Наташи не оказалось подходящих штанов. Тут вновь нарисовались вышеупомянутые польские техасы, из которых я вырос («хорошие вещи» тогда не выбрасывали). Но отдать их просто так было как-то не по-нашему, как нынче говорят, не прикольно.

Как всегда и во всех школах, в июне в кабинетах шел ремонт, стены красили в тот грязный околосалатовый цвет, в который в СССР было выкрашено все — от Зимнего дворца до общественных сортиров. Толстой малярной кистью несмываемой краской я крупно вывел вдоль одной штанины «Наташе», вдоль другой — «от Жени».

Когда Наташа получила техасы с граффити, ее смутила вовсе не надпись, а то, что они чуть мешковаты, не по фигуре. Зато они подошли Белке Кафенгауз, которая и прошагала в них весь поход, одной штаниной путая местных аборигенов (они обращались к ней: Наташа), а другой — пугая их (неким грозным Женей).

Ровно сорок дней мы брели по русскому Северу, и очевидной библейской ассоциации с Моисеем, евреями и Египтом не возникало лишь потому, что даже в нашей антисоветской школе мы во многом оставались советскими комсомольцами, не особенно углублявшимися в сюжет и смысл тех фресок, перед которыми стояли в полуразрушенных сельских церквях.

Столичные школьники-физматы открывали для себя не только таинственный и полузапретный мир заброшенных монастырей, часовен и погостов, мы открывали для себя свою страну, добредали до таких глухих деревень в пять дворов, до такой России, которую никто из нас ни до того, в городском советском детстве, ни после, в постсоветской зрелости, уже не встречал. А может, ее уже и нет.

Для местных мы были пришельцами, инопланетянами, жителями далекой планеты Москва. Валютой здесь служили не рубли-копейки — на них в сельпо можно было купить разве что соль, водку и спички. Если повезет — еще и хлеб. И больше ничего. Настоящей твердой валютой оказались дальновидно высланные продукты, особенно копченая колбаса, которую, как и

москвичей, никто здесь никогда не видел. За полбатона колбасы могли и баню растопить, и картошку на всех сварить, и ночлег найти для оравы столичных балбесов.

Вначале было интересно все, но где-то на пятом десятке обозреваемых достопримечательностей мы сломались, заскучали. Густав обижался. Он все с тем же блеском сыпал датами, именами, цифрами (расстояние от пола до купола, площадь алтарной части, диаметр подкупольного барабана), а ребята слушали вполуха, разбредались кто куда. В оправдание напомню, что лет нам было пятнадцать-шестнадцать, а в это время больше смотрят не на достопримечательности вокруг, а друг на друга на фоне этих достопримечательностей. И это естественно.

Кризис разразился у величавых стен Кирилло-Белозерского монастыря. По плану мы должны были наутро топать километров двадцать в Ферапонтово, но ни сил, ни воли на очередной марш-бросок не нашлось. Жилистый Гусь настоял на своем и с группкой добровольцев все же отправился пешком, остальные тоже настояли на своем и загрузились в попутные грузовики. Двое умников-бэшников в последний момент все-таки присоединились к группе пеших энтузиастов, поскольку недоиграли накануне партию в шахматы вслепую, на ходу. Когда мы проезжали мимо бредущей вдоль дороги цепочки, слышалось: «Ферзь *b3 — f7*» — «Король *e7 — d8*…»

В то лето мы видели немало церквей и монастырей, икон и фресок, но увидел я Николая Святителя под сводами церкви в Ферапонтовом монастыре. А может, это он меня увидел. Дионисий с сыновьями собирали цветные камни тут же рядом, на берегу Бородаева озера, и на их основе делали краски для монастырских фресок. Я пошел на озеро, нашел похожие камни, как будто все это было вчера (летом 1502 года). Камешки были шелковистые, мягкие, они крошились и оставляли отчетливый цветной след на белых прибрежных булыжниках. Дионисиевы камни до сих пор лежат где-то на антресолях, целая гамма охры — от самой светлой до темной, почти шоколадной.

Еще в Москве мы обнаружили на карте еле заметный разрыв тонкой ниточки дороги у деревни со сказочным названием Чарозеро. Решили — как-нибудь прорвемся.

Сейчас все просто — пара кликов в интернете и читаешь чей-то вопрос: «Привет! Не подскажете, дорога Чарозеро — Каргополь в каком состоянии будет? Там вообще можно проехать?» И тут же ответ: «Если у вас не танк, то не советую перемещаться по участку Чар-озеро — Каргополь. В советские времена там вроде еще был зимник, ну а летом — вообще болота непролазные…»

На все наши расспросы немногочисленные жители

глухоманной деревни отвечали уклончиво: там вроде как болота, никто у нас в ту сторону не ходит… И почему-то отводили глаза.

Идти на свой страх и риск мы не решились. Подходящего танка под рукой не нашлось. Зато в поле обнаружился ржавый кукурузник, брюхо которого было крайне подозрительно стянуто канатом. Договорились, заплатили, разбились на группы, полетели. Девчонки заблевали весь салон кукурузного чартера. Запах в салоне при этом не изменился. В такой обстановке лучше смотреть в мутный иллюминатор.

Все мои познания о болотах сводились к собаке Баскервилей, которая на фоне простиравшегося под нами казалась дрессированным пуделем. Мелькнули караульные вышки, бараки. Лагеря? Померещилось?

Хотя Густав все часовни и монастыри показывал под углом исключительно искусствоведческим, нечто богоугодное в нашей авантюре, видимо, все же было. Бог нас хранил, иначе никак не объяснить тот невероятный факт, что ничего уж совсем серьезного в пути с нами не стряслось. Хотя есть что вспомнить. Когда уплыли в Кострому, на пристани забыли Яшу Барского — никто и не заметил пропажу. Он нас чудом догнал на левых перекладных катерах. Когда мы спали в спортзале, не помню уже где, мрачная местная шпана влезла в разбитое окно. Была и драка в кровь с допризывной пьянью на перроне, хорошо — поезд подошел.

В каждом городке голодные походники первым делом искали почту. Помимо спасительных продуктовых посылок мы получали письма от родителей и писали короткие ответы в мужественном стиле первопроходцев. Шла активная переписка и с ЭлПэ. Ее незабываемый дачный адрес: тупик Энгельса, 6.

ЭлПэ

Густав учил истории бэшников, а нас учила Людмила Петровна, сокращенная нами до аббревиатуры ЭлПэ, симпатичная женщина с простым открытым лицом. На фоне Гуся — ходячей энциклопедии, на фоне Якобсона, который, слушая ответ ученика, путающегося в рассказе про Степана Разина, мог стукнуть кулаком по столу: «Да что ж у тебя Стенька болтается как дерьмо в проруби?!» — наша ЭлПэ выглядела непритязательно, но и не опасно.

Ко времени нашего появления Якобсона в школе уже не было. Я видел его лишь однажды — он пришел на премьеру школьного театра. Магнетизм его личности был таков, что на сцену уже мало кто смотрел. Я читал статьи Якобсона, но не в этом была его сила. Учителя Второй школы вообще на бумаге выглядят бледнее, чем на уроке. Они были прежде всего учителя, а на отроков и отроковиц воздействует главным образом не текст, не только текст, не столько текст, сколько энергетика личности, особая аура, которая возникает (или не возникает) на уроке.

Легендарный Якобсон любил рассказывать историю, в которой он выглядит не так уж легендарно. Однажды, когда он только начинал работу в школе, вместе с листком контрольной работы Якобсон получил от ученицы записку с объяснением в любви. Он не стал исправлять грамматические ошибки (хотя хотелось).

Попросив ученицу остаться после уроков, молодой учитель начал приготовленную заранее деликатную воспитательную беседу словами:

— Понимаешь, это не так просто, как тебе кажется…

— Но и не так сложно, как вам кажется, — не дав ему продолжить нравоучение, отрезала школьница.

Пока Якобсон вновь обретал дар речи, она спокойно взяла свой портфель и вышла из кабинета.

Вернемся к ЭлПэ. В первый же месяц учебы в новой школе я заболел, провалялся дома с температурой, а вернувшись в класс, сразу попал на контрольную… по истории.

Вокруг строчат, я сибаритствую. Отсутствовал. Болел. Имею право. Проходя мимо, ЭлПэ предложила: напиши, что знаешь… Знать надо было про разные партии перед революцией 1905 года. Хотя и месяца не прошло, но я уже чувствовал себя закоренелым второшкольником и с ходу сотворил, как сказали бы сегодня, постмодернистский коллаж. Помню, эпиграфом к фрагменту про эсеров стояло «На небе светит лампа в сорок тысяч вольт, я милой

подарю шестизарядный кольт». Ну и остальное в том же духе.

Когда на следующем уроке ЭлПэ прочитала выдержки из моего творения классу и даже поставила пять баллов, я окончательно убедился, что попал в очень необычную школу. В предыдущей за похожий фортель на истории я получил даже не двойку, а единицу.

Историю мы вообще на уроке у ЭлПэ учили своеобразно. В какой-то момент объяснения она говорила: «Теперь закройте тетради, положите ручки, я расскажу вам, как это было на самом деле». Так, как она рассказывала до этого момента, надо было отвечать на экзамене. ЭлПэ, конечно, рисковала. Не все пришедшие в школу были готовы услышать такую двустороннюю историю страны. Я был готов.

Еще до Второй школы я прочитал заданную по внеклассному чтению книжку Э. Казакевича «Синяя тетрадь» (про Ленина в Разливе). Интереса к жизни вождя у меня к тому времени не было уже никакого, но эта книжка была самой тонкой из обязательного списка. Про шалаш, где вождь готовил революцию, нам все уши прожужжали с раннего детства, это был один из базовых советских мифов. А тут, к моему изумлению, из шалаша, где, по всем совковым житиям, вождь пребывал в одиночестве, вылез еще и Зиновьев (тот самый, враг народа и троцкистско-зиновьевский блок).

Такой поворот у нынешних школьников вызвал бы естественный вопрос: они что, гомики? Но у нас были другие вопросы. Почему-то именно тогда я не то чтобы осознал, но всеми потрохами почуял, что вранье было не только про шалаш, а вообще все и про все было вранье. Так что двуцветные зерна преподавания ЭлПэ в данном случае попали на подготовленную почву.

С нашим классом у ЭлПэ сложились особые отношения. Она нас очень любила, да и мы ее. О том, как в ночь после выпуска она убежала от своего класса, где была классным руководителем, к нам, на квартиру к Риммочке, она сама покаянно написала в воспоминаниях о школе.

Рискну рассказать другой, тоже не самый педагогически выверенный эпизод. Именно с ЭлПэ связан тот первый раз в жизни, когда я напился. Инициация, блин.

Это было в тот памятный день, когда после подавления Пражской весны на вынужденный поклон в Москву прилетел чехословацкий генсек Дубчек.

Трагические события той поры переживали и дома родители, и в школе учителя. Я не все, может, и понимал в происходящем, но в нашем школьном кинотеатре «Эллипс», которым заведовал

мой приятель Мишка Райгородский, незадолго до этих событий он показал новые чешские фильмы, какие-то очень человеческие, разительно непохожие на официальное советское кино.

Все высокие делегации, кажется, и по сей день везут из аэропорта в Кремль по Ленинскому проспекту, мимо нашей школы. Вдоль всего пути сгоняли и выстраивали (может, и сейчас?) счастливых москвичей с флажками и плакатами про нерушимую дружбу. Для нас это была лучшая отмазка при опозданиях и прогулах, поскольку проспект был полностью перекрыт.

С приездом Дубчека все выглядело иначе. После уроков мы с ЭлПэ вышли из школы и увидели, как по безлюдному проспекту катит мрачный членовоз с мотоциклистами по бокам, больше напоминавшими тюремный конвой, чем почетный караул. Тоска стояла невыносимая. Мы решили выпить. По чуть-чуть. С горя.

Зашли в соседнюю «Снежинку». Ничего спиртного. Пошли вдоль по проспекту дальше. Пивная. Облом. Магазин. Облом. Еще кафе. Опять облом.

Надо сказать, что точек общественного питания в те времена было куда меньше, чем теперь, так что шли мы очень долго. И нигде ничего. Наконец одна сжалившаяся над страждущими официантка пояснила шепотом, что ничего и не будет, поскольку велено по всей трассе спиртное в этот день убрать.

Вымотанные, голодные, мы свернули вглубь квартала и нашли забегаловку с не очень уместным в этом случае сладким советским шампанским. Я с утра ничего не ел. Настроение было никакое. Мы быстро оприходовали на двоих бутылку теплого липкого пойла и собрались по домам.

И тут оказалось, что встать я не могу. Вообще не могу. Пробую — не получается. Голова ясная, ноги ватные. ЭлПэ с трудом дотащила меня до такси, довезла до дому. Жил я далеко, шампанское выветривается быстро, так что в подъезд я уже смог кое-как войти самостоятельно.

Больше никогда в жизни я так не напивался. Смысл? Голова моя все равно не вырубается. Даже если ноги не идут.

А ЭлПэ еще долго была в курсе всех наших дел, включая сердечные. Когда мы с Наташкой позвонили ей и сообщили, что женимся, она не сразу поверила. Думала — розыгрыш. Собственно, и мы так думали.

Возвращение

На Соловецкие острова нас доставил пароходик-развалюха «Михаил Лермонтов» — единственное средство связи с большой землей. Монастырь — еще не такой, как на нынешней пятисотрублевке, не отреставрированный, без соборных куполов — больше походил на мощную крепость. На Соловках вообще все было мощным. Дамба через Белое море, сооруженная монахами. Вырытая ими же сложная система каналов. Даже комары, жалившие по ночам сквозь толстый брезент палаток.

Под стенами монастыря на берегу были развешаны болотного цвета лохмотья, как будто оперный юродивый выстирал свое сценическое одеяние. Оказалось — морская капуста. Из нее делали леденцы-петушки столь же аппетитного болотного цвета. Странное производство. Но покупали — все равно ничего другого не было.

Повсюду мы натыкались на следы СЛОНа (так не без черного юмора именовался Соловецкий лагерь особого назначения). Бараки стояли открытые, пустые, но еще стояли. Надписи на стенах камер не стерлись.

Однажды я добрел до дальнего скита. Внутри сиротливой белой часовни без окон, без дверей, без креста не было никакой росписи, только грязные беленые стены. Почувствовав тяжелый взгляд, я посмотрел наверх. Из-под купола на меня строго смотрел Сталин — грубо, но точно намазанный черным углем…

К Питеру все разладилось окончательно. Обиженный на всех Густав обосновался где-то в городе отдельно от нас, за всю ленинградскую неделю я видел его лишь однажды в окне проезжавшего мимо трамвая. Он приветливо помахал мне рукой.

Жили мы в школе в самом центре города, на набережной Мойки, неподалеку от пушкинской квартиры. После Соловков Людмила Яковлевна уехала (как и было обговорено с самого начала), Густав исчез в неизвестном направлении, Альбина особо не возникала, и мы были предоставлены сами себе. Днем спали, ночи напролет гуляли. Ночи белые, лет шестнадцать, ключ под ковриком.

Был я тогда влюбленный в Катю Франк. Однажды белой ночью захотелось ее увидеть немедленно, а ее не было. Вышел на набережную Мойки и направился неизвестно куда — уверенно, не раздумывая, не сворачивая, почти побежал. Не я шел, меня вело. Через путаные проходные дворы выскочил к Неве где-то уже далеко за Медным всадником. Там (естественно) стояла Катя. Она не удивилась. Это еще ладно. Но и я не удивился. Ни в какую

мистику никогда не верил и сейчас не верю, но…

Одна была досада — ходил я по Питеру, путаясь в соплях. Собственно, так в первой половине лета было у меня всегда. Мама сетовала: да что ж такое, у всех дети как дети, простужаются, когда холодно, ветрено, сыро, а мой — наоборот, когда жара. Я и в северный поход отправился, зная, что обречен на неизбежные сопли. Но до Питера все почему-то было в порядке.

Однажды в наше стойло на Мойке ребята вернулись с парнем явно ненашего вида. Оказался из Штатов, наш ровесник по имени Майк. По тем временам такой гость был даже не инопланетянином, а пришельцем с того света. Свое появление в советском Ленинграде Мистер-Твистер-внук объяснил тем, что у него такая болезнь — мучительный насморк, который появляется в период цветения, и тогда надо менять климат. Вот родители и увозят его на север — в Канаду или в Ленинград. Болезнь называется *allergy* (написал он мне на листке).

Так я сам себе поставил диагноз, когда про аллергию у нас в стране еще никто не подозревал. Сообразил, почему не было насморка до того (мы ведь вплоть до Соловков тоже шли все время на север), перестал капать в нос бессмысленные капли, а вернувшись домой, велел родителям срочно отправить меня в Канаду (шутка).

Перед возвращением в Москву мы решили проесть последние деньги в знаменитом «Севере», самой вкусной кондитерской на Невском. Все деньги с удовольствием проели, но опоздали на поезд. Вернее, кто-то добрался, что-то из вещей привезли, но большинство застряло по дороге.

На перроне я увидел Густава. Он прогуливался вдоль состава как по мхатовской сцене — в элегантном белом костюме и белой шляпе. Мы с ребятами побежали вперед в безнадежной попытке задержать поезд до прихода опоздавших. Перед отправлением Гусь сказал мне: «Твой рюкзак здесь? Так садись, поехали». И уехал.

Ночевали мы на вокзале, расстелив на полу свои спальники. Перед тем на Невском наши девчонки дарили ничего не понимавшим ментам цветы, которые накануне мы купили родителям. Это был, конечно, типичный перформанс, только слова такого в русском языке еще не было.

Увидев мою грозную маму на вокзале в Москве, Густав удивился и осторожно сказал:

— А ваш Женя не приехал, он остался с опоздавшими.

— Я знаю, — величественно ответила мама (на последние не проеденные в «Севере» копейки я все же дозвонился из автомата

на вокзале), — но здесь должен быть его рюкзак!

Она забрала мой тяжелый грязный мешок и гордо удалилась. Маме тоже была не чужда стилистика Художественного театра.

На следующий день мы не без приключений добрались до Москвы в грязном пустом (запасном, наверное?) вагоне. Но все же добрались.

Весь поход мы с Шугаровым на две допотопные кинокамеры снимали узкопленочное кино. Я изобретал самые изысканные ракурсы — каждую новую церковь хотелось показать иначе, по-своему. Когда в Москве наконец смонтировали и показали фильм, меня, как и любого подлинного творца, ждало горькое разочарование. Зал проигнорировал все мои ракурсы, зато любое самое случайное мелькание в кадре любой из наших походных рож вызывало бурный восторг.

Подружившись после Северного похода с бэшниками, мы осенью собрались снова выйти вместе на природу, в подмосковные леса. Однако некая бдительная общественница засекла, как две Кати (одна — Франк, вторая — подружка) у ворот школы запихивают в рюкзак бутылку водки, и тут же сдала их директору. Поднялся большой шум, совместный поход-пикник отменили. Мозганов невозмутимо изъял из рюкзаков оставшийся криминал (половину все же удалось незаметно вынести), после чего мы вышли на близлежащую природу уже без учителей и распили спасенную часть на склонах Воробьевых гор. Солидную трофейную контрибуцию (как выяснилось много позже) наши учителя оприходовали самостоятельно.

А Катю-вторую мы с Наташей встретили недавно на ужине в небедном православном доме. Катя теперь иконы пишет.

Невольник чести

К середине десятого класса на уроках литературы мне стало скучно. Феликс со всей своей дотошностью пытался выудить худо-бедно-нравственные коллизии из обязательной программы советской литературы, а я уже не мог все это даже читать.

Во многом, кстати, благодаря именно Феликсу. После «Войны и мира» всерьез говорить о Фадееве? о горьковской «Матери»? Прости господи, о «Любови Яровой»? До поры до времени удавалось успешно выкручиваться. Но это уже были уроки не литературы, а чего-то совсем другого.

Феликс обычно выбирал в классе жертву, к которой постоянно обращался с вопросами. Отвечать нужно было, ссылаясь на текст. На уроке по фадеевскому «Разгрому» перст судьбы указал на меня, успевшего на перемене узнать только про бедного корейца, у которого красные партизаны с голодухи отняли последнюю свинью.

На первый вопрос я кое-как ответил, ловко связав сцену со свиньей с заданным вопросом. Козырной корейской свиньей удалось отбить и второй вопрос. Ответ на все последующие вопросы я начинал уже прямо, без обиняков: «Вспомним хотя бы сцену со свиньей». Терять было нечего.

Предатели-однокашники ржали в голос, даже не пытаясь сдерживаться, Фадеев корчился в гробу, а невольник чести Феликс Александрович Раскольников вместо вполне заслуженного «неуда» поставил мне «четыре» (еще и мотивировал: все верно, но примеров маловато…).

А вот с упомянутой «Матерью» такой трюк не прошел, и прямо перед выпуском Феликс влепил мне безжалостную пару, поскольку о наличии в романе героя по фамилии Находка я вообще не подозревал. Я думал — это город.

Однако далеко не все столкновения несгибаемых представлений нашего по-своему тоже железного Феликса с действительностью оказывались столь забавными и безобидными. Нашему однокласснику Володе Еремину Раскольников поставил два бала на устном выпускном экзамене по литературе.

Володя был, конечно, парнем своеобразным, но тем самым он лишался аттестата, мог загреметь в армию… Все это было по тем временам происшествием не только чрезвычайным, но жестоким и бессмысленным.

После выпуска мы не раз приходили к Феликсу в гости. Сначала в школу, потом, когда школу разогнали, — домой. Он тяжело разводился с женой, женился снова, готовился к

эмиграции, вроде бы к какому-то богатому дяде в Канаду, что — согласитесь — звучало уже слегка водевильно.

Последний раз мы пришли к нему домой перед самым его отъездом за океан. Сегодня пишут, что это считалось опасным. Не помню, нам было не до того. Уезжал наш учитель. Мы прощались навсегда.

Изредка оттуда доносились вести. Феликсу было совсем не просто — он работал на заводе, чуть не клеил конверты, но в итоге все-таки защитил диссертацию и стал преподавать в университете русскую литературу — сначала в Канаде, потом в Штатах. Никакой эйфории от того, что наш необыкновенный учитель с таким трудом, преодолев огромные препятствия, смог наконец стать самым средним американцем (канадцем?) и заурядным преподавателем заштатного университета, я не испытывал.

Потом рухнули Берлинская стена, железный занавес и все остальное. Вполне благополучный на фоне нашей перестроечной разрухи Феликс ненадолго приехал в Москву, мы собрались у Ленки Захарьиной, наперебой вспоминали школу. Но и только.

Много лет спустя в России наконец вышла книга Ф. А. Раскольникова «Статьи о русской литературе». Я очень хотел написать рецензию, но не смог зацепиться ни за один абзац. На уроках мой учитель словесности был куда интересней, мощней, притягательней. На бумаге все выглядело тривиальным, пресным. Его незаурядная личность тонула в правильных литературоведческих пассажах.

Я понимал, как важен был Феликсу отклик именно из России, из *толстого литературного журнала*, что он как мало кто имеет право на такой отклик. В отличие от своего учителя, я готов был поступиться всеми принципами, даже заранее договорился о публикации… Но так ничего и не написал. Не смог выжать из себя необходимых страниц.

А должен был. Обязан. Да что тут говорить…

Сивашинский

За полгода до выпуска и поступления в университет, когда, как спортсмен перед чемпионатом, я был уже не только накачан, но и перекачан всеми возможными задачами *вступительной математики*, родители решили, что все равно нужно взять репетитора. Все берут, а они — нет?

Репетитор, понятное дело, нужен был самый хороший, самый дорогой. Выбор пал на Сивашинского, знаменитого на всю страну учителя и автора многих задачников. Он уже не работал во Второй школе, поскольку подал документы на отъезд в Израиль и был в отказе, а на жизнь зарабатывал репетиторством, проходившим следующим образом.

В каждой комнате и даже на кухне квартиры Сивашинского сидело вокруг стола до десятка десятиклассников, решали серии предварительно подобранных задачек, написанных на листочках. Уровень ребят был разный, потому приходилось не только решать самому, но и что-то объяснять соседям. Изредка Сивашинский появлялся в дверях, говорил: «Да, кстати» — и подбрасывал нетривиальную идею решения, какой-нибудь изощренный прием.

При пересказе такая методика кажется откровенной халтурой, циничной стрижкой купонов с бренда «Сивашинский» в расчете успеть добежать до границы. Однако летом на вступительных экзаменах практически ни одна задача не оказалась для меня, не самого (замечу) прилежного абитуриента, непонятной и неожиданной. Тут, конечно, и Бегемот постарался, и студенты, и, несомненно, — Сивашинский.

Многие годы во Второй школе он преподавал примерно так же — и потом практически все поступали куда хотели. Во время уроков он тоже в основном стоял в коридоре, а за открытой дверью были видны написанные на доске задачи. Иногда он входил в класс со своим «Да, кстати» (см. выше).

Родным языком Израиля Ефимыча был идиш, потом иврит и украинский, по-русски он говорил своеобразно, а по-учительски и тем более по-советски — еще своеобразней.

Сивашинский млел, когда девочка решала задачу не просто правильно, а еще и красиво. Тут он говорил: «Дай бог тебе здоровья и хорошего мужа!» И хотя сегодня его пожелание кажется весьма даже мудрым, тогдашних восьмиклассниц и особенно восьмиклассников это очень смешило.

Двойки он ставил редко и неохотно. Когда одной девице он все-таки влепил неуд и она, вернувшись на место, еле слышно прошипела: «Дурак», Сивашинский услышал нелестную оценку и

воскликнул: «Таки да! Таки дурак — раз не смог тебя научить решать такие простенькие задачки!»

Школьную рутину, которая была во Второй школе сведена к минимуму, но все же была, он не воспринимал вообще. Наталья Васильевна Тугова, еще одна из удивительной плеяды завучей-литераторов нашей матшколы, рассказывала, что когда она, робея, все же вынуждена была сделать Сивашинскому замечание за незаполненные страницы уроков математики в классных журналах, он ласково ответил «Деточка моя, повесь мне выговор! Придет комиссия, будет видна твоя работа».

Уже уехав в Израиль, он рассказал по вещавшему оттуда на СССР *вражьему голосу*, что да, конечно, у него «теперь все слава богу», что его сразу взяли профессором в Иерусалимский университет, но мечта его — «сделать в Израиле такую школу, как директор Второй школы Владимир Федорович Овчинников сделал в Москве, дай бог ему здоровья!».

Для Овчинникова в те времена такое пожелание было равносильно одновременно и доносу и приговору. Собственно, вскоре его и выгнали с работы, как и всех наших завучей. Но Владимир Федорович, который и поведал мне об этом послании издалека, рассказывал о нем совершенно беззлобно, с улыбкой. Это же Сивашинский, что тут скажешь…

Крука

Отъезд Сивашинского был только одной из тем Крукиных доносов. Клавдия Андреевна Круковская, она же фольклорная злодейка Крука, маленькая невзрачная женщина в больших очках и синем стираном халате, преподавала нам химию.

Не исключено, что Крука знала свой предмет и даже умела его преподавать. Легендарная ее вредность, мелкая мстительность, ненависть ко всему и всем в школе скорее всего были следствием общей пришибленности жизнью и тяжелых комплексов, которые вымещались на нас.

Темой ее постоянного брюзжания и инвектив было засилье в школе евреев и интеллигентов. Интеллигенцию она крыла с большевистской прямотой, а вот на засилье евреев только намекала, поскольку само слово «еврей» было в советском зазеркалье табуировано.

Объективности ради признаемся: она была недалека от истины. Интеллигентные московские семьи считали Вторую школу своей, да и евреев хватало. Как однажды с улыбкой посетовала ЭлПэ, работавшая в школе еще до того, как она стала математической: «Когда-то у меня в одном классе учились Петухов, Курочкин и Цыпкин, а теперь у меня в одном классе учатся Розенблюм, Розенфельд, Розенман и Розеноэр…»

Иногда Круковская замечала, что ее перманентное брюзжание никого уже не цепляет, и переходила к активным боевым действиям. Однажды посреди очередной тирады она грозно обратилась к Сергею Абелю, мирно болтавшему с соседом:

— Абель, ты интеллигент?

Абель встал и ошалело переспросил:

— Чего?

Надо сказать, Серега Абель был не самым точным адресатом для подобного вопроса. Почему Крука выбрала именно его? Может, в этот момент он болтал громче других. Может, потому что был по списку первым. Может, фамилия не понравилась.

— Абель, ты интеллигент? — угрожающе повторила Круковская и забралась на учительский подиум у доски, надеясь хотя бы оттуда посмотреть на долговязого Абеля сверху вниз. Но это бы ей не удалось, даже если б она влезла на стол.

Абель лихорадочно соображал, как бы ему изловчиться ответить, чтоб не попасть под раздачу, но так ничего путного и не придумал.

— Ну да, — неуверенно потянул он после тревожной паузы.

Почему-то этот ответ довел Круковскую до бешенства.

— Садись, хам! — заорала она со всей ненавистью гегемона к прослойке и перешла наконец на что-то химическое.

Перед нашим выпуском Круковская выставила Наташе шесть двоек подряд. Крука, видимо, рассчитывала, что Наташина мама, учитель физики Людмила Яковлевна, с которой они терпеть друг друга не могли, запросит о пощаде.

Я пересел к Наташе. Крука оценила маневр. Моя успеваемость по химии рухнула вместе с надеждами на медаль. Но, как говаривал Михайло Васильевич Ломоносов, если где-нибудь чего-нибудь убудет, то где-нибудь в другом месте чего-нибудь обязательно прибудет. Так у нас и вышло…

Круковская и сочинила тот *своевременный* донос на школу, который подписали и Фантомас и Бегемот. Незатейливый, но идеологически точный слоган «КРУКА — СУКА» стал надежным паролем мирового сообщества второшкольников. Каждый выпускник непременно расскажет вам, как он прочитал эти огненные слова, эти наши мене-текел-фарес не только в курилке МГУ или физтеха, в аудитории Гарварда или Кембриджа, но и в аэропортах Франкфурта, Тель-Авива, а то какого-нибудь и вовсе Буэнос-Айреса. Второшкольными теоретиками строго доказано, что уравнение КРУ × КА = СУКА, при замене букв на цифры, имеет единственное решение.

Однажды на уроке химии, когда назойливая Крука привычно зудела над ухом, обрывки нескольких фраз проступили из общего монотонного жужжания: «Когда я была маленькой девочкой, купили новые ботиночки… мама мне говорила… не прыгай через лужи…»

Не знаю, с чего это ее так занесло. Может, она и лужи связала с тем, что если в кране нет воды — далее по тексту… Но я посмотрел на нее будто впервые: вот *эта,* нет, точнее, вот *это* когда-то было ребенком? маленькой девочкой? прыгало через лужи? Как же жизнь должна была тебя переехать, чтоб ты стала такой откровенной и даже демонстративной дрянью. И что-то очень-очень отдаленно похожее на жалость шевельнулось — нет, ну не в сердце, а почему-то в районе живота…

Экзамены

И без того тревожная пора выпускных экзаменов была подпорчена еще и постоянными слухами об идеологических проверках, насылаемых откуда-то сверху. Опасались, естественно, не физики с математикой. Но вот история с обществоведением…

ЭлПэ лихорадило. Мы боялись больше даже не за себя, а за школу, готовы были хоть чем-то помочь, честно приходили на все консультации перед экзаменом. Тщетно. Запомнить и воспроизвести ворох верноподданного бреда не получалось. Не тому нас учили.

Спасение пришло неожиданно. Накануне экзамена Наташа искусно пометила экзаменационные билеты. Бессонной ночью каждый из нас выучил свой билет практически наизусть. Проверяли друг друга по текстам впервые открытого учебника обществоведения, который произвел неизгладимое впечатление. Последний параграф учебника назывался просто и непритязательно: «Счастье». А последний абзац звучал так:

Раньше поэты изображали счастье синей птицей, которая ускользала от того, кто хотел поймать ее за крыло. Теперь мы крепко держим ее в руках!

Проверяющая тетка явилась, но она была уже не страшна. ЭлПэ сидела белей чистого экзаменационного листа, а мы были жизнерадостны и уверены в себе. Никаких нравственных мучений от того, что придется гнать идеологическую пургу, мы почему-то не испытывали.

Меня вызвали почти сразу. Иду к столу и — о ужас! — начисто вышибло, как именно помечен мой билет. ЭлПэ почувствовала неладное:

— Женя, что с тобой?

И тут меня озаряет спасительная мысль:

— Людмила Петровна, а можно, Наташа вытащит мне билет? На счастье? — спрашиваю со смущенной улыбкой влюбленного дебила.

Проверяющая тетка, насмотревшаяся советских фильмов про школу *(а если это любовь?)*, не смогла скрыть умиления. Можно!

Наташа коршуном бросилась к столу, быстро-быстро-быстро просмотрела оборотки всех лежавших в ряд билетов и безошибочно вытащила — мой. Победа! Счастье! Теперь я крепко держал его за крыло.

Я сыпал всеми с утра распиравшими мою кратковременную память именами, датами и цитатами. Проверяльщица восторженно внимала…

И тут я увидел, как смотрит на меня Феликс, которого тоже зачем-то посадили в экзаменационную комиссию.

Он снял очки, положил их на стол и глядел невидяще и абсолютно потерянно даже не на меня, а сквозь меня. Бунимович, Женя, которого он числил человеком, в мельчайших деталях и подробностях уверенно несет всю эту официозную ахинею…

Я запнулся, растерялся, умолк. Тут вновь вовремя включилась ЭлПэ:

— Наверное, достаточно.

Она вопросительно посмотрела на пришлую тетку. Та кивнула. Все обошлось. Но взгляд Феликса не забылся.

Из всех выпускных самым простым мы числили экзамен по французскому языку. Сдающих оказалось всего-то пятеро, все из языковых спецшкол, никаких опасностей и подвохов не ожидалось. Однако проверяющего засунули и сюда.

Всем достались темы как темы: «Моя любимая книга», «Мой любимый фильм». А мне — «Ленин в Париже». Еврейское счастье на французском языке.

Все сдающие честно пытались мне подсказать, но никто не знал, когда Ильич там был и зачем приехал. Только ответственная Ленка наконец вспомнила, что жил он где-то на Монпарнасе и через весь Париж ездил на велосипеде в Национальную библиотеку. Готовить, надо полагать, мировую революцию.

Этого оказалось более чем достаточно. Красочно, во всех подробностях рассказывал я обалдевшей комиссии, как будущий вождь мирового пролетариата садится поутру на велосипед, трогается в путь, — и дальше описывал все подряд улицы по пути, дворцы, соборы, памятники. Спасла выучка французской спецшколы. План Парижа, где советский школьник никогда не был и быть не предполагал, я знал практически наизусть.

Проверяющий, не знавший ни слова по-французски, благосклонно кивал в такт моей мерно лившейся картавой, как у вождя пролетариата, речи, а учительница, вовремя сообразившая, что мы с Ильичом уже у Пале-Рояля, практически в двух шагах от библиотеки, благоразумно прервала нашу прогулку:

— Достаточно!

Приехав впервые в Париж двадцать лет спустя, уже во время *perestroika*, я первым делом прошел этим маршрутом.

Париж оказался точно таким, как во французском кино, — дождливым, серым, туманным, прекрасным, со своим местным Габеном на каждом отрезке набережной. Но все-таки тот мой, выученный по картам, фотографиям и импрессионистам в Пушкинском музее, с призраком коммунизма на велосипеде, был прекрасней, спасительней. Он был несбыточной мечтой. И вот на

тебе — сбылся.

А Сашке по прозвищу Мика досталась на том экзамене тема «Мой любимый фильм». Он стал рассказывать про мюзикл «Моя прекрасная леди», на который мы только что ходили большой компанией после уроков. Наверное, это был единственный фильм, содержание которого он в тот момент помнил. О первоисточнике — «Пигмалионе» Шоу — мы успели ему подсказать. На беду.

Кто-то из комиссии спросил, а кто же такой этот Пигмалион. Сашка бодро ответил:

— Это такой зверек, который меняет свой цвет.

Все рассмеялись, кроме проверяющего дядьки. Он не понимал по-французски. Но и после перевода ему не стало смешней. Зато ему стало обидно. Сашке вкатили трояк.

Мика закончил физтех, потом уехал за океан. Не так давно на встрече выпускников сказали, что Саша умер. Помянули. Вскоре (почему-то в Киеве, в случайном пересечении людском) я узнал, что Саша в Канаде покончил с собой.

Может, и нет волшебных стран, кроме детства. Даже если через него проехал Ленин на велосипеде.

После

Летом после выпуска позвонили из школы. Велено было сфотографироваться для доски лучших выпускников — и не где попало, а в фотоателье № 1, что в проезде Художественного театра. Взял у брата модный свитер, поехал.

Первого сентября мы привычно пришли в школу, прежде чем разбежаться по своим университетам. Толпились во дворе, болтали, приветствовали учителей. С деланой скромностью я предвкушал тот момент, когда все наконец войдут в двери, а тут и я — прямо у входа, фотографией на белой стене.

И вот все входят. А меня нет.

Висит в рядок несколько довольных физиономий, а моей среди них нет. Пока я переходил из скромно-напускного в честно-обескураженное состояние, нарисовалась Зоя.

— Ищешь свой портрэт? — ехидно спросила она. — А я тебя в своем кабинете повесила. Вместо Макаренко. — И поплыла дальше, вся в цветах, рассекая волны выпускников, как большой рыжий корабль.

Шутка? Правда? Разве у Зои поймешь? На всякий случай я неопределенно хмыкнул, но потом все же заглянул в кабинет завуча. Как бы поболтать.

Над столом действительно висел мой шикарный портрет, наскоро приляпанный поверх другого (не исключено, что и впрямь Макаренко), от которого осталась только золоченая рама.

Выяснилось вот что. Сразу после выпуска я отпустил пышную чегеваристую шевелюру вкупе с пушкинскими бакенбардами, так и сфотографировался. Ко всему это сильно напоминало облик крамольных тогда битлов. Повесить *такое* у входа в советскую все-таки школу да еще под вывеской «Лучшие ученики» администрация, чуть не в еженедельном режиме принимавшая идеологические комиссии, не решилась. В качестве моральной компенсации Зоя и забрала опальное фото в свой кабинет.

Практически весь свой первый студенческий год я провел не в университете, а в школе. Автобус, который вез меня утром в МГУ, проезжал как раз мимо нашей школы, и я либо сразу выходил, либо все-таки доезжал до знаменитой высотки, одиноко поднимался в битком набитом лифте, открывал двери аудитории, затем закрывал их с той же стороны и возвращался в школу. На первое время школьной математической подготовки хватало, чтобы сносно сдавать зачеты и экзамены, потом были проблемы.

Выход без скафандра из Второй школы в безвоздушное советское пространство оказался для многих выпускников

мучительным, опасным, невозможным. Уходили в запой, в диссиденты, в монастырь, в суицид.

Потерянно бродил я по школьным коридорам, ходил на уроки к словесникам. С Ирой Щепочкиной из бывшего 10 «Б», тоже студенткой мехмата, мы начали вести семинары по матанализу, которые только что у нас самих вели студенты того же мехмата.

Моя голова была переполнена витиеватыми приемами решения сложных задач, а Щепа (ныне доктор физматнаук) относилась к математике совсем по-другому, очень по-домашнему. Она доказывала у доски теоремы, решала самые трудные задачи просто, сноровисто, без затей, как будто на кухне пельмени лепила. Нам с Щепой было интересно на этих семинарах, надеюсь, нашим девятиклассникам тоже. Поначалу казалось, еще не все потеряно.

Но это только казалось и только поначалу. Наташина подруга Регина (ныне тоже доктор наук, нейрофизиолог), которая училась на класс младше нас, сохранила воспоминания об атмосфере безысходности выпускного своего года, постоянных все более грозных комиссиях, все более подавленных и мрачных учителях, о последнем звонке, больше похожем на гражданскую панихиду…

К лету школу по высочайшему повелению разогнали. Уволили Владимира Федоровича, директора, уволили всех завучей — Наталью Васильевну, Фейна, Зою. Кто-то из учителей ушел вслед за ними, кто-то остался. Но школы не стало.

Зою я застал в кабинете, когда она собирала вещи в хозяйственную сумку. Она отдала мне на память злополучную фотографию (не могла не пропеть скрипучим своим голосом «Я возвращаю ваш портрэт…»). Вернувшийся на свое законное место Макаренко сквозь круглые стекла очков строго и ответственно взирал на происходящее.

Что стало конкретным поводом для разгона школы? Демонстративное диссидентство Якобсона? Плохо скрытое — других учителей? Отъезд Сивашинского в Израиль? Вовремя подоспевший очередной Крукин донос? Что-то еще? Разве в этом дело? Удивительно не то, что разогнали. Удивительно, что была.

Советский Союз называли *Верхней Вольтой с ракетами* — и называли не без основания. Свести Россию к ВВ (толерантно сократим до аббревиатуры, а то тамошние жители обидятся) советским вождям удалось самостоятельно. Историю свели к краткому курсу, литературу — к соцреализму. Об этом много написано. Не будем повторяться.

Однако ВВ на то и ВВ, что никаких ракет самостоятельно создать не способна. По определению. А без ракет сверхдержава

— не сверхдержава. Никто не боится. Вот и приходилось терпеть до поры до времени всяческие физматшколы, создавать физикам (в отличие от лириков) тепличные условия, поскольку в других они не выживают, не размножаются.

Признать, что и легендарную Вторую школу терпели некоторое время на излете оттепели ввиду потребностей военно-промышленного комплекса в толковых головах физматов — трудно. Но приходится.

Наталья Васильевна

После разгрома мы все же первого сентября снова пришли в уже несуществующую школу. Даже не знаю зачем. Надеялись по молодости на чудо? Едва ли. Чуда и не случилось.

Учителей наших, завучей, директора уже не было. Новая администрация смотрела на нас с опаской. И не без основания.

Уходя, мы содрали с фасада вывеску нашей школы. Унесли, прикрыв моим рыжим вельветовым пиджаком. От бессильной тоски. На память о школе, которую уничтожили. Пусть новую себе заказывают.

Вывеска сиротливо жила у меня дома под диваном, пока нас не вычислили. Позвонила Наталья Васильевна, уже работавшая в другой школе, сказала, что Владимир Федорович просит не дурить и вывеску вернуть. Ну если Владимир Федорович просит… Слово директора стало для нас непреложным законом, когда мы перестали быть учениками, а он перестал быть директором нашей школы.

С Натальей Васильевной, завучем по воспитательной работе (учитывая особенности *воспитательной работы* во Второй школе, ее, по-моему, выгнали первой), мы, конечно, и в школе пересекались. Даже как-то у нее дома чай пили. Но время поговорить нашлось гораздо позже.

Деревянный домик в центре города, где я родился, где жила моя семья, снесли. Мы оказались в панельной многоэтажке на самом юге тогдашней Москвы. Наталья Васильевна жила неподалеку от нас (кажется, у подруги). Мы встречались, гуляли, она вспоминала о том, как создавалась, как жила школа.

Вот только одна история, которую я однажды уже рассказал на страницах «Новой газеты», но все же повторю.

Давно все это было. Можно уже считать педагогической легендой.

Войдя с утра в класс, замотанная собственными неурядицами учительница литературы Наталья Васильевна с криком набросилась на ученицу, которая распустила свои пышные, роскошные волосы, вместо того чтобы по законам тогдашней комсомольской аскезы заплести их в положительную косу или уж, на худой конец, завязать в допустимо-либеральный конский хвост. В довершение этой распущенности волос на лице ученицы были явно заметны следы преступления (косметики). Наталья Васильевна громогласно отправила ее в туалет — отмывать *всю эту мазню*. Девчонка с рыданиями выскочила из класса.

На следующий день Наталья Васильевна вошла в класс и,

прежде чем перейти непосредственно к лучу света в темном царстве, извинилась перед ученицей. Просто извинилась — каким-то бесцветным, нормальным, непедагогическим голосом…

А еще день спустя Наталье Васильевне передали книгу Корнея Чуковского с его автографом: «Первому советскому учителю, извинившемуся перед своим учеником»…

Вот и вся история. Недавно обнаружил ее (разница в деталях) в свежеизданной книжке знаменитого московского директора и давнего моего приятеля Евгения Ямбурга, у которого во дворе школы, как всем известно, стоит Окуджава, а в кабинете висит Корчак (или наоборот?). Видимо, за прошедшие полвека история не потеряла актуальности.

Последний раз я видел Наталью Васильевну на полувековом юбилее школы. «Какая же она была красавица!» — подумалось довольно неожиданно. Когда мы учились в школе, все учителя казались нам если не стариками и старухами, то где-то около.

Встречи и прощания

Я сам уже вовсю учительствовал, когда среди других передо мной встала проблема обязательного *ленинского коммунистического субботника*. Собственно, я был не против сделать с ребятами по весне что-нибудь «общественно полезное», но чтоб без этого *ленинского-коммунистического*. И мы стали ездить с моим классом на субботники в Переделкино, на дачу Чуковского.

Казавшегося бессмертным Корнея уже не было, на даче жила его дочь — Лидия Корнеевна, находившаяся в процессе изгнания (или уже изгнанная?) из Союза советских писателей за самиздат и прочее диссидентство. При этом Лидия Корнеевна искренне возмущалась руководством пресловутого Союза, которое отказывалось делать положенный ремонт их литфондовской дачи.

Ребята собирали граблями и сжигали прелые осенние листья на большом дачном участке. Вдруг прибежали с соседней дачи, куда повалил густой дым от наших костров.

Пошел в дом к Лидии Корнеевне: что будем делать? Она уточнила:

— А на какую дачу дым идет?

Я показал.

Тогда она сказала спокойно и безжалостно:

— Это дача Катаева. Дымите дальше!

Потом Лидия Корнеевна заваривала моим архаровцам чай на веранде. Там, на скрипучей веранде, я и увидел Фейна, который в этот период ожидал разрешения на выезд из страны. Его готовность к эмиграции была заметна даже в той необычной для СССР свободолюбивой позе, в которой он сидел в кресле — не просто нога на ногу, а подошвой ботинка вперед, рука на щиколотке, колено на отлете. Такое тогда можно было увидеть только в прогрессивном американском кино. Поза недвусмысленно знаменовала, что он выбрал свободу не только духовно, но и телесно. Может, даже тренировался.

— Что ты здесь делаешь с ребятами? В музей пришли?

Музея тогда еще не было. Но хозяйка водила экскурсии *для своих*, этим обычно и заканчивались наши субботники.

— И в музей. Но вообще-то это субботник. Листья собираем на участке и сжигаем.

Фейн задумался и не сразу сказал:

— Никогда бы не подумал, что увижу субботник, который буду приветствовать.

— Жизнь вообще сложнее, чем кажется на первый взгляд, — с

юным хамством ответил я мудрому Фейну, и мы пошли пить чай.

По-моему, это была наша последняя встреча. Он уехал в Германию, где успешно профессорствует под именем Герман Андреев.

Еще один неожиданный привет из школы я получил в подозрительном сарае на краю Москвы. Просочилась информация, что будет левый показ запретного чаплинского «Великого диктатора». Не задумываясь, сел в указанный рейсовый автобус с трехзначным номером, вышел на конечной. Стал озираться.

Пустырь. Помойка. Через дорогу — большой сарай. Не похоже, что обитаемый. Вокруг озиралось еще несколько столь же подозрительных персонажей.

Мы переглянулись. «Там?» — молча, одними глазами спросили меня. «Сомневаюсь, но больше негде», — так же молча ответил я, и мы пошли к сараю.

Опоздали, было уже темно, сели на ближайшую лавку. Пошел чаплинский фильм, и тут я услышал голос переводчика-синхрониста, такой знакомый кляузный голос Игоря Яковлевича Вайля, учителя английского языка из Второй школы. Я у него не учился (поскольку «француз»), мы вообще были не очень знакомы, но когда после фильма зажгли свет и мы увидели друг друга — обнялись. Два взрослых несентиментальных мужика.

— Орфей в объятиях Морфея, — хмыкнула Зоя, когда я рассказал ей про финал встречи с Вайлем.

Я забежал навестить ее в 57-ю матшколу, где она тогда создавала гуманитарное отделение, и впервые увидел Зою в полной растерянности. Она всегда преподавала самым старшим, а тут взяла малышей, пятый класс. Пятиклассники копошились вокруг Зои, как придворные на питерском памятнике у ног Екатерины Великой.

— Ну что я буду с ними делать? — вопрошала Зоя, но все же пустила меня посидеть на задней парте.

Малыши испуганно взирали на известную всей Москве грозную учительницу словесности, начавшую с вполне банальных вопросов, кто что читал летом. Список оказался типичным для пятиклашек — сказки, приключения, фэнтези. Ответы на вопрос, почему они читали эти книжки, тоже были банальны: увлекательный сюжет, не знаешь, что еще приключится с героями, чем дело кончится.

И тут она мне подмигнула (фишка!) и спросила: а кто из вас что-нибудь *перечитывал*? Кто читал книжку, которую уже читал раньше?

Поднялось немало рук.

— А зачем? — невинно удивилась Зоя. — Ведь сюжет известен, что с кем будет дальше — вы отлично знаете. Почему же вы их перечитывали?

И вот тут-то из их собственных ответов на этот Зоин вроде бы бесхитростный вопрос пятиклашкам постепенно открывалось, что есть такие удивительные книжки, в которых перипетии сюжета — совсем не главное, которые притягивают чем-то другим, заставляя перечитывать по многу раз знакомые почти наизусть страницы. Они смешно подбирали слова, искренне пытаясь объяснить не учителю, а самим себе — чем же, если не сюжетом, так интересны их любимые книжки.

Зоя помогала, уточняла, легко, естественно, как будто они сами до всего этого дошли, смогла подвести их к пониманию, чем отличается просто занятная книжка от той литературы, которой они и займутся на уроках. Я почувствовал, что завидую этим пятиклашкам и не прочь еще раз пройти этот путь.

Хоронили Зою Вторая школа и Пятьдесят седьмая — вместе. Повсюду стояли выпускники — молодые и седые. Время от времени слышался сдавленный неуместный смех — вспоминали ее коронные словечки и фразы.

Ребята, с которыми она когда-то ездила в Одессу на экскурсию, рассказали, как Зоя подвела их к покосившемуся забору на неприметной улочке и со своей непередаваемой интонацией сказала: «Возле этой калитки мне было восемнадцать лет».

Шеф

Когда мы учились в школе, наш директор Владимир Федорович Овчинников, молодой, здоровый, мрачноватого вида мужик в больших роговых очках, наводил на нас страх и трепет. Голос он не повышал никогда. Боялись его панически. Слово его было справедливым, и оно же было последним. Выгнал — прав, не выгнал — тоже прав. Это не обсуждалось.

С выпускной фотографии класса на нас смотрит интересный, представительный, *видный* (как тогда говорили) мужчина. Похоже, именно положительный вид Владимира Федоровича, вылитого героя советского кино — мудрого секретаря райкома и одновременно мечту всех трудящихся женщин, долго вводил в заблуждение идеологические органы. К тому же, будучи некогда комсомольским работником (грехи молодости), Овчинников был способен говорить с ними на их языке без предательского акцента, что до поры до времени тоже внушало доверие.

Жена шефа, Ирина — маленькая, очень живая, подвижная, — составляла с ним, таким большим, солидным, основательным, презабавную пару. Ирина Григорьевна Овчинникова работала в «Известиях», писала *проблемные статьи*, но каким-то образом она тоже являлась неотъемлемой частью Второй школы. Они и жили поначалу при школе, в «директорской квартире» (фишка тогдашних образовательных учреждений), пока не получили жилплощадь в новом доме неподалеку.

Жизнь при школе, учитывая особенности второшкольников-физматов, создавала свои проблемы. Однажды 7 ноября, когда вся страна отмечала свой самый главный идеологический праздник и школа, естественно, не работала, один восьмиклассник пришел-таки с утра пораньше с портфелем и готовностью учиться, долго дергал ручку запертой двери и в полном недоумении (все закрыто, никого нет) позвонил в дверь директорской квартиры, перебудив мечтавшего наконец выспаться Владимира Федоровича и все его семейство.

«День седьмое ноября — красный день календаря». Это было намертво впечатано в голову всех советских детей, от Москвы до самых до окраин. Кроме тех, что съезжались во Вторую школу, на тогдашнюю окраину Москвы.

За год до нас школу заканчивал Саша Даниэль, сын *того самого* Даниэля, одного из двух фигурантов вошедшего в учебники истории судебного процесса — дела двух писателей, напечатавших свои книги на Западе (в чем и состояла их вина). С этого памятного процесса обычно начинают отсчет

диссидентского движения в СССР.

Завершался первый экзамен, выпускное сочинение, когда Владимиру Федоровичу позвонил секретарь райкома партии и попросил срочно приехать. Слово «попросил» в таких случаях приобретает особенный, зловещий оттенок.

После экзамена шеф приехал, вошел в главный кабинет. Вопрос был о сочинении Даниэля-младшего.

— Он написал? Вы читали?

— Да, — ответил Овчинников, — сочинение он написал, я его прочитал. Тема литературная. Сочинение нормальное. — И добавил: — Хорошее сочинение.

Кроме значительного выражения лица советских начальников отличало значительное число телефонных аппаратов на столе. Чем начальственней начальник — тем больше телефонов. Самым главным, заветным среди них была «вертушка» — особая телефонная линия, доступ к которой имели немногие *допущенные*. И вот секретарь райкома по этой «вертушке» звонит куда-то на самый верх и подробно докладывает содержание сочинения выпускника Второй школы Саши Даниэля.

Такое параноидальное внимание даже к малейшему намеку на возможность крамолы во многом объясняет, почему удушением Второй школы — одной из тысячи московских школ — занимались на самом высоком уровне и почему никакое заступничество ее не спасло.

Владимир Федорович вернулся во Вторую школу в нулевых, спустя тридцать лет после ее разгрома. И снова (теперь уже и согласно официальным рейтингам) сделал ее одной из лучших московских школ. Вообще-то, так не бывает. Но это факт.

Его постоянно спрашивают, как сделать такую школу, дайте рецепт. Шеф отвечает односложно (отшучивается?): «Очень просто — надо собрать хороших учителей и не мешать им работать».

Действительно, чего проще.

Personalia

Лицей «Вторая школа» — государственный физико-математический лицей г. Москвы.

Школа № 2 была основана в 1956 году в новом районе Москвы, на улице Фотиевой. Первый директор — Владимир Федорович Овчинников.

Физико-математическая специализация школы началась с того, что директором было организовано прохождение производственной практики учениками по специальности «радиомонтажник» (а позже — «программист») в одном из институтов Академии наук СССР. Такое решение вызвало приток в школу детей, чьи родители работали в расположенных на Ленинском проспекте академических институтах. В свою очередь, сами родители привлекались в школу в качестве лекторов и преподавателей.

В школе не было младших классов (с первого по пятый), и за счет этого удавалось содержать гораздо большее количество старших классов (с шестого по десятый), чем в обычных московских школах. Прием в эти классы производился на конкурсной основе по результатам собеседований.

Занятия по математике и физике часто вели ведущие ученые — профессор Е. Б. Дынкин, член-корреспондент (затем академик) И. М. Гельфанд, профессор Ю. Л. Климонтович, Б. В. Шабад, О. В. Локуциевский и др. Гуманитарный цикл преподавали З. А. Блюмина, Г. Н. Фейн, Ф. А. Раскольников, И. С. Збарский, А. А. Якобсон, В. И. Камянов, Г. А. Богуславский и др.

В школе имелся свой театр, проходили публичные лекции и концерты. Так образовалось сообщество неординарных учителей и учеников со свободным взглядом на мир, на окружающую социалистическую действительность. Но в те времена всякое самостоятельное суждение, да еще в общеобразовательном учреждении, считалось посягательством на основы государственного устройства. В связи с этим в 1971 году из школы с соответствующими взысканиями были уволены директор В. Ф. Овчинников и все его заместители. Владимир Федорович в день своего увольнения собрал всех работавших в тот день учителей и призвал их не покидать школу во имя сохранения коллектива и духа «Второй школы». Тем не менее вслед за уволенными директором и завучами ушли и многие ведущие учителя.

В 2001 году, через 30 лет, в школу вновь вернулся ее самый первый директор. Народный учитель России Владимир

Федорович Овчинников является руководителем лицея «Вторая школа» по настоящее время.

В официальном рейтинге качества образования в Москве лицей «Вторая школа» входит в тройку лидеров среди полутора тысяч школ, (как по результатам государственных экзаменов, так и в рейтинге, составленном на основании побед учащихся в олимпиадах высокого уровня). Нынешние второшкольники систематически занимают призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников по нескольким предметам (математика, физика, астрономия, информатика, география), а также периодически становятся победителями и призерами международных олимпиад.

Ниже даются краткие биографические справки об упомянутых в книге учителях Второй школы.

Блюмина Зоя Александровна (1924–2008) — учитель русского языка и литературы во Второй школе (1962–1971) и завуч школы (до 1971). Окончила Московский государственный педагогический институт (1946), училась в аспирантуре, работала в ИМЛИ им. М. Горького. После ухода из Второй школы преподавала русский язык и литературу в школах № 56 (1971–1986) и № 57 (1986–2004), сотрудничала в Московском институте развития образовательных систем (1971–2004); была многолетним руководителем методического семинара, автором программ по литературе. После выхода на пенсию продолжала вести домашние семинары для учителей.

Богуславский Густав Александрович (р. 1924) — учитель истории во Второй школе (1969–1972). Благодаря уникальным способностям, будучи учеником 8-го класса, получил разрешение министра высшего образования без экзаменов поступить на исторический факультет МГУ (при условии, что он за год пройдет курсы 9-го и 10-го классов). Завершив обучение, совмещал научную, пропагандистскую, журналистскую и педагогическую деятельности. Автор более 300 научных работ. Упомянутая книга «Острова Соловецкие» была опубликована в 1966 г. Был первым председателем Клуба знатоков Ленинграда. Научный руководитель Института Петербурга.

Вайль Игорь Яковлевич (1930? — 2001) — учитель английского языка во Второй школе (1966–1989).

Вахурина Людмила Петровна (р. 1933) — учитель истории и обществоведения во Второй школе (1958–1972). Окончила

исторический факультет МГУ (1957). Работала также учителем истории в школе № 425, завучем, инспектором РОНО.

Гельфанд Израиль Моисеевич (1913–2009) — принял активное участие в создании Второй школы и Заочной математической школы. В 1963–1969 гг. читал лекции во Второй школе и организовал семинары, которые вели его ученики, привлек много ярких людей и по другим предметам. На многие годы определил стиль и уровень преподавания в школе. Один из крупнейших математиков XX века, академик РАН, почетный член многих академий мира, лауреат самых престижных премий по математике. Внес фундаментальный вклад практически во все области математики.

Дынкин Евгений Борисович (р. 1924) — в 1964–1966 гг. руководил потоком и читал лекции во Второй школе. В 1963 г. организовал при МГУ Вечернюю математическую школу (ВМШ). В 1950-х гг. профессор механико-математического факультета МГУ. По его инициативе начал издаваться на ротапринте МГУ в 1965–1966 гг. журнал «Математическая школа» — предтеча «Кванта». Позднее Дынкина заставляют отказаться от работы со школьниками. В 1967 г. за подписание письма в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова уволен из МГУ. В 1970-х эмигрировал, с 1976 г. проживает в США, член Национальной академии наук США.

Збарский Исаак Семенович (1925–2004) — учитель литературы во Второй школе (1957–1970), также руководил школьным литературно-театральным коллективом. Окончил Московский областной педагогический институт. После Второй школы — сотрудник Института общего образования, доктор педагогических наук. Автор учебных пособий по литературе.

Зорина Людмила Яковлевна (1929–2001) — учитель физики во Второй школе (1966–1971). Кроме того, преподавала физику в школах Тулы и Москвы, а также кремлевским курсантам. Сотрудник Института общей педагогики Академии педагогических наук. Доктор педагогических наук, автор нескольких книг и многих публикаций по проблемам дидактики.

Камянов Виктор Исаакович (1924–1997) — учитель литературы во Второй школе (1968–1972). Критик, литературовед, писатель. Участник Великой Отечественной войны. Сотрудник журнала «Новый мир», автор нескольких книг и

многих статей о русской литературе.

Круковская Клавдия Андреевна — учитель химии во Второй школе (1960–1989?). В 1979 г. вела также биологию.

Макеев Алексей Филиппович (1913–1979) — учитель географии, тренер, начальник летних школьных лагерей во Второй школе (1960–1976). Политзэк, участник Кенгирского восстания 1954 г.

Мозганов Яков Васильевич (р. 1932) — учитель физики во Второй школе (1968–1971). Окончил физико-математический факультет Московского городского педагогического института (1955). Преподавал физику в московских школах, был директором школы в Группе советских войск в Германии, работал в МГПИ им. В. И. Ленина, в Московском автомеханическом институте. С 1991 г. работает в Тель-Авиве. Председатель правления педагогического центра МАПАТ (математика, физика, культура), организованного учителями школ бывшего СССР и профессорами из Москвы. Главная школа центра Шевах-Мофетт признана лучшей школой в Израиле.

Непомнящий Валентин Семенович (р. 1934) — читал лекции о Пушкине во Второй школе, вел факультатив (1969–1971), учитель литературы во Второй школе (1970–1971). Работал в «Литературной газете», журнале «Вопросы литературы», в ИМЛИ им. М. Горького; председатель Пушкинской комиссии ИМЛИ РАН. Доктор филологических наук, автор нескольких книг и множества статей; автор и ведущий циклов теле— и радиопрограмм. Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства (2000).

Овчинников Владимир Федорович (р. 1928) — назначен директором школы-новостройки № 2 (1956), в 1971 г. освобожден от должности, с 2001-го по настоящее время снова директор лицея «Вторая школа».

Учеба в школе пришлась на годы войны и эвакуацию, учился в Институте стали и сплавов, затем перешел в МГПИ им. В. И. Ленина на исторический факультет. По распределению направлен в Калужскую область, через год направлен на работу в обком комсомола, затем — в ЦК комсомола, но через полтора года освобожден от должности; был директором школы рабочей молодежи, преподавал историю в школах № 45, 57, 31, с 1964 г. и поныне директор ВЗМШ — Всесоюзной заочной математической

школы (затем получившей название Всероссийской заочной многопрофильной школы). Народный учитель России.

Ошанина (ныне Успенская-Ошанина) Татьяна Львовна (р. 1937) — учитель литературы во Второй школе (1962–1972). Начала преподавать в 19 лет после окончания школы и двухгодичного педагогического училища; работала в школе № 167 в экспериментальном классе под руководством профессора Л. В. Занкова. После разгрома Второй школы несколько лет работала в издательстве. С 1957 г. пишет книги; автор романов, повестей, рассказов, очерков, статей.

Раскольников Феликс Александрович (1930–2008) — учитель литературы во Второй школе (1959–1972). Учился в МГПИ им. В. И. Ленина (1947–1948). В 1948 г. исключен из ВЛКСМ и отчислен из института за «космополитизм». Работал электромонтером на строительстве и одновременно учился на заочном отделении Московского областного педагогического института, который окончил с отличием (1948–1951). Преподавал литературу в разных школах Москвы. В 1979–1986 гг. жил в Торонто (Канада), работал рабочим на фабрике и одновременно учился в докторантуре Торонтского университета, где получил ученые степени магистра и доктора философии (*PhD*). С 1986 г. жил в США, был профессором русской литературы и языка в Колгейтском университете, Университете Юга, Мичиганском университете. Автор ряда статей, опубликованных в российских и иностранных журналах, и книги «Статьи о русской литературе» (2002).

Сивашинский Израиль Хаимович (1909–1991) — учитель математики во Второй школе (1960–1969). Родился на Украине в семье винодела. Русский язык выучил, только когда, минуя школу, поступил на физико-математический факультет Киевского университета (1931–1936). Участник Великой Отечественной войны (1941–1943). Преподавал математику в Школе военно-воздушных сил в Москве (1943–1945), в московских школах, в станкостроительном техникуме. Больше 20 лет работал в Институте усовершенствования учителей и был методистом Института усовершенствования учителей города Москвы. Издал несколько популярных задачников и методических пособий по математике. В ноябре 1971 г. уехал в Израиль, где преподавал математику в Иерусалимском университете (1971–1982) и издал несколько пособий по математике на иврите.

Тугова Наталья Васильевна (1928–2006) — учитель литературы во Второй школе (1957–1971) и завуч школы (1960–1971). Окончила МГПИ им. В. И. Ленина (1950), учитель немецкого языка в вечерней школе г. Ялты (1950–1955), учитель русского языка, литературы и логики в женской школе № 5 г. Ялты (1955–1957). Работала также в нескольких московских школах.

Ушаков Алексей Петрович — учитель математики во Второй школе (? — 1970, 1987–1988).

Фейн Герман Наумович (литературный псевдоним Герман Андреев; р. 1928) — учитель литературы и завуч во Второй школе (1966–1971). Литературовед, культуролог, публицист. Опубликовал несколько книг на русском и немецком языках, а также более 200 статей. Преподавал русский язык и литературу в школах Ялты и Москвы. Несколько лет вел по московскому телевидению учебную программу по литературе. После эмиграции в 1975 г. в течение 25 лет преподавал русскую литературу в университетах Гейдельберга, Мангейма, Майнца и Ландау. Один из основателей Русского свободного университета им. А. Д. Сахарова в Германии.

Чебоксарова Ирина Абрамовна (р. 1918) — учитель биологии во Второй школе (1960? — 1974). Автор книги «Жизнь и деятельность Николая Николаевича Чебоксарова» (1987). Упомянутый труд «Народы, расы, культуры», написанный в соавторстве с Н. Н. Чебоксаровым, увидел свет в 1971 г.

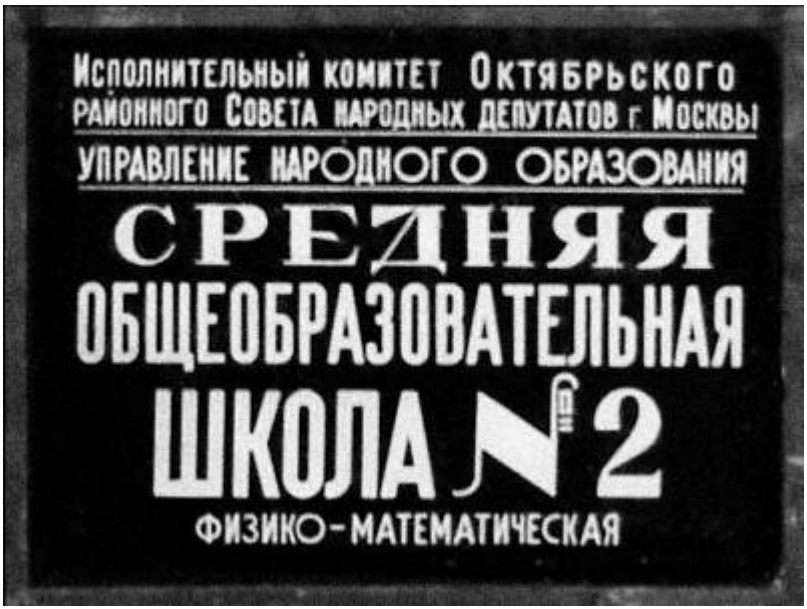
Чебоксаров Николай Николаевич (1907–1980) — читал лекции по основам генетики во Второй школе. Ученый-этнограф, доктор географических наук, профессор МГУ. Один из организаторов преподавания этнографической науки в МГУ. Лауреат премии им. Н. Н. Миклухо-Маклая (1947 и 1966).

Якобсон Анатолий Александрович (1935–1978) — учитель истории и литературы во Второй школе (1965–1968). Писатель, переводчик, историк русской литературы, правозащитник. Окончил исторический факультет МГПИ им. В. И. Ленина (1958). Выступал как переводчик поэзии с английского, итальянского, французского, польского и испанского языков. Занимался правозащитной деятельностью, был редактором «Хроники текущих событий» (1969–1972). Автор работ о русской литературе, которые публиковались за рубежом (в России —

только в 1990-х). В 1973 г. был принужден покинуть страну. Работал в Центре славистики Еврейского университета в Иерусалиме.

Фото с вкладок

Часть первая

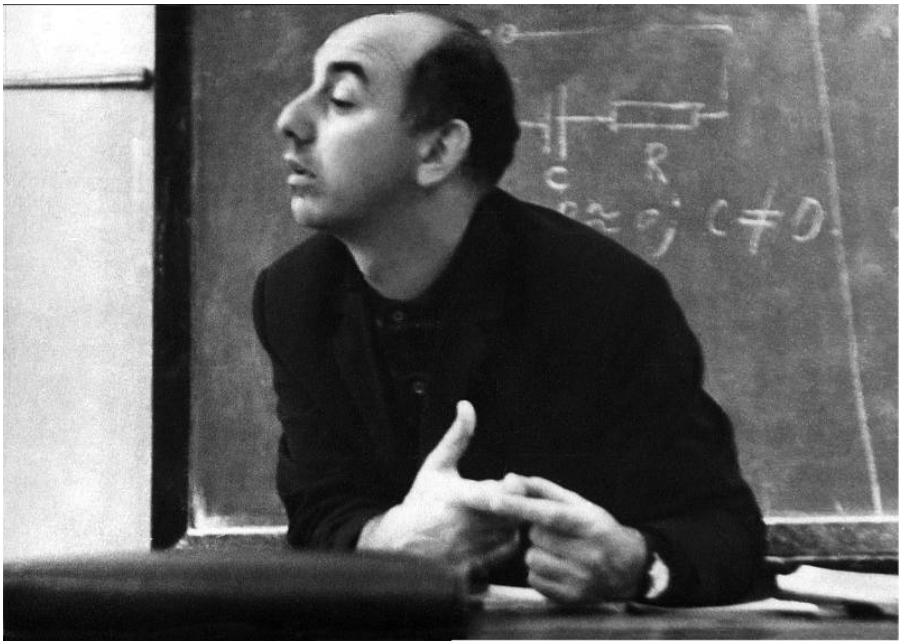


«Уходя, мы содрали с фасада вывеску нашей школы. Унесли, прикрыв моим рыжим вельветовым пиджаком. От бессильной тоски. На память о школе, которую уничтожили».

Эмблемы Второй школы 60-х и 70-х годов.

«Наш директор Владимир Федорович Овчинников, молодой, здоровый, мрачноватого вида мужик в больших роговых очках, наводил на нас страх и трепет.».

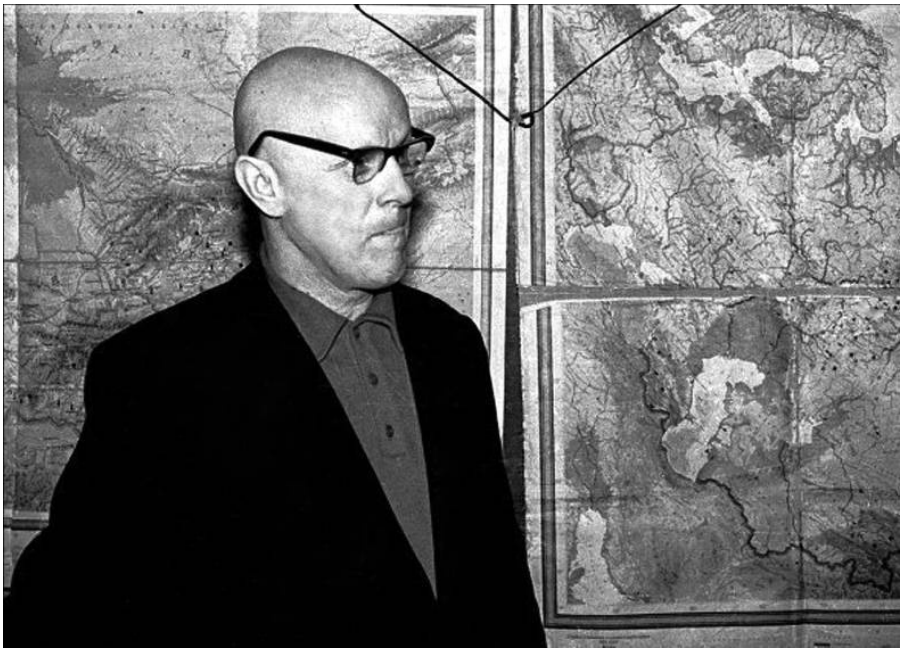
«Я впервые внимательно взглянул в выпученные сквозь толстые стекла очков глаза человека с литературной фамилией Раскольников».



«Нашего классного руководителя Якова Васильевича Мозганова даже между собой мы звали уважительно, по имени — отчеству, но слипшемуся в одно слово — Яквасилич. Учил он нас физике».

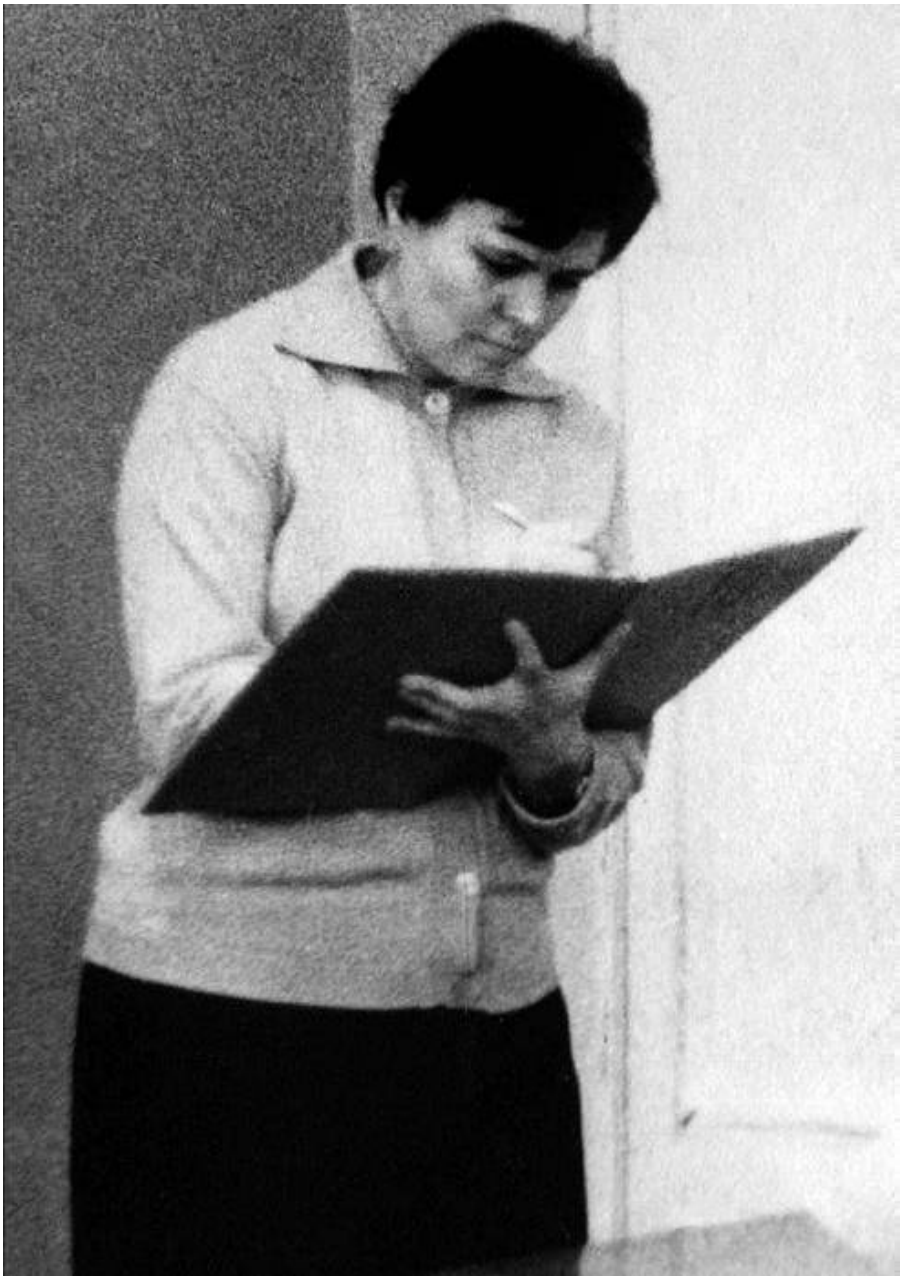
«…Зоя Александровна Блюмина почему — то была завучем по специальным предметам, по физике и математике, хотя сама преподавала литературу».

«Биологию у нас вела Ирина Абрамовна Чебоксарова. Неуклюжая, незлобивая, не от мира сего, она походила на пожилую профессорскую жену из кинокомедии. Каковой, собственно, и была».



«Учитель географии Алексей Филиппович Макеев был абсолютно лыс, что неизбежно обрекало его на прозвище Фантомас».

Людмила Яковлевна Зорина, учитель физики Второй школы и моя будущая теща, с нами в северном походе. Соловки, 1969 г.



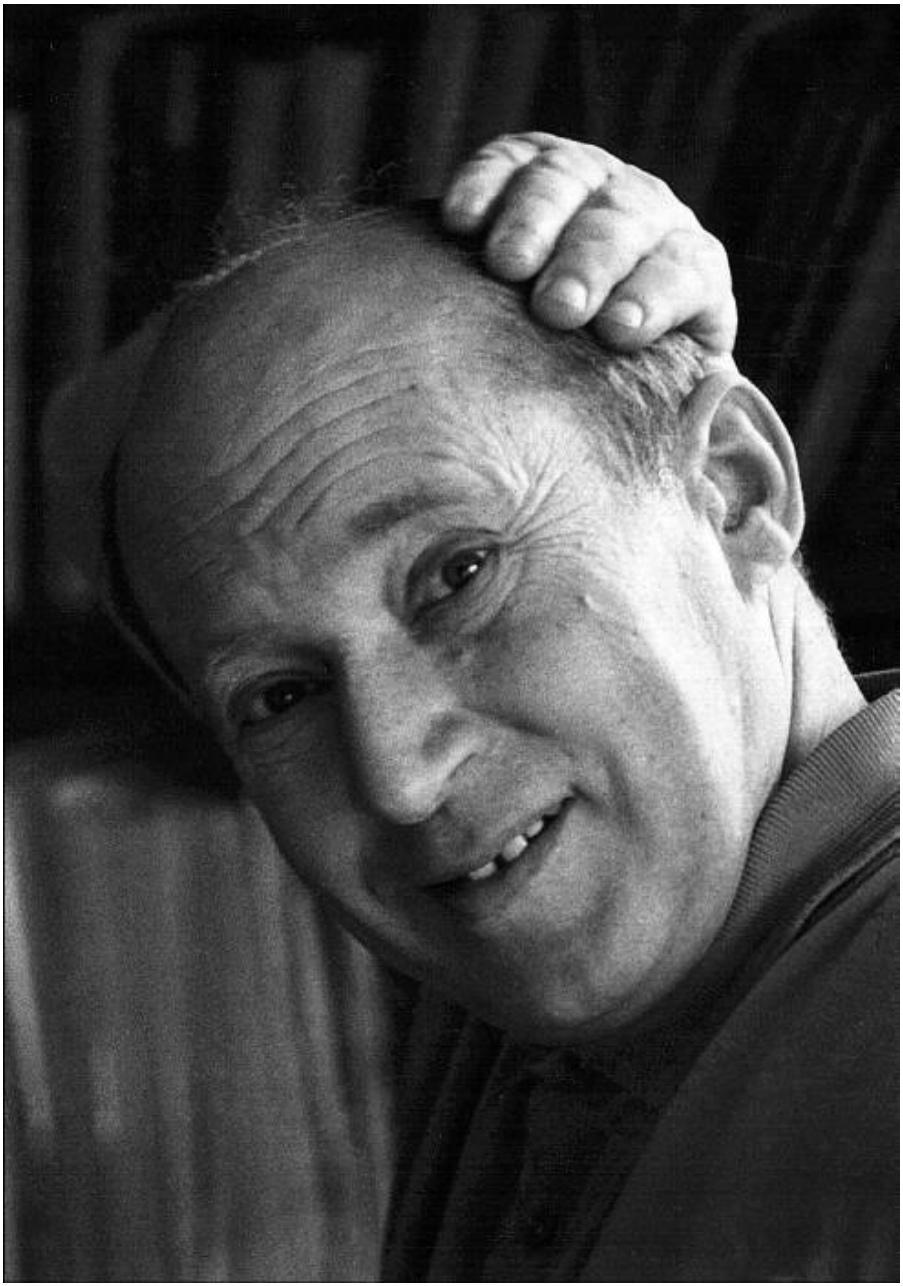
«Истории нас учила Людмила Петровна, сокращенная нами до аббревиатуры ЭлПэ».

«Уроки по школьной математике вел флегматичный учитель Алексей Петрович Ушаков, которого все именовали Бегемотом — и точнее его не назовешь».

«Клавдия Андреевна Круковская, она же фольклорная злодейка Крука, маленькая невзрачная женщина в больших очках и синем стираном халате, преподавала нам химию».

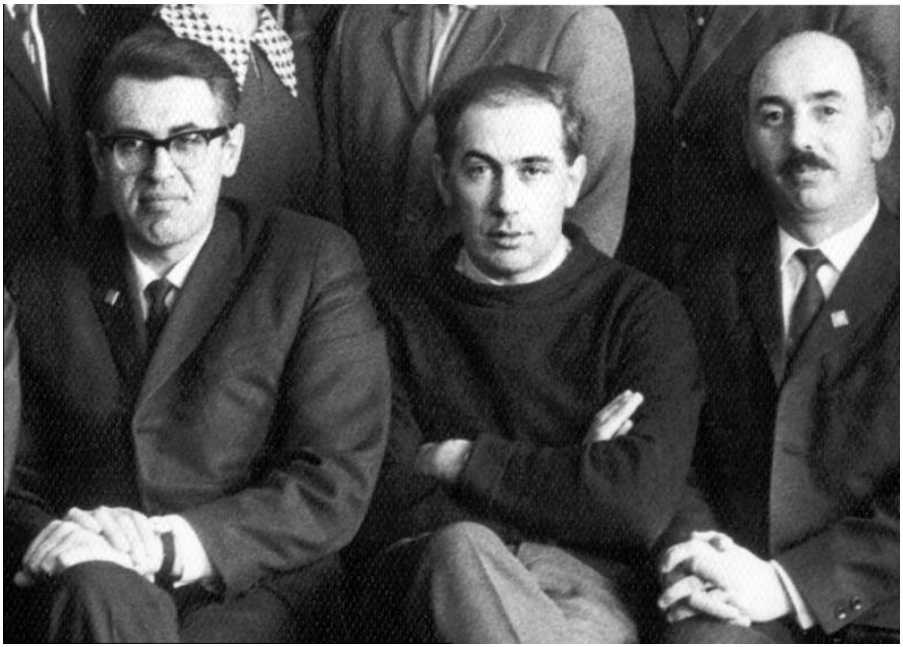
Наталия Васильевна Тугова, учитель литературы и наш завуч по «воспитательной работе», начало 60-х.

«Инакомыслящий Якобсон, преподававший историю… был вынужден уйти из школы, следом за ним — и собравшийся на одноименную историческую родину математик Израиль Ефимович Сивашинский».



Один из создателей и идеолог математического профиля школы академик И. М. Гельфанд, 60-е годы.

«Фейн отвечал неизменное: „Я толстовед, а не толстовец!“ — и заносил фамилию нарушителя в грозный кондуит».

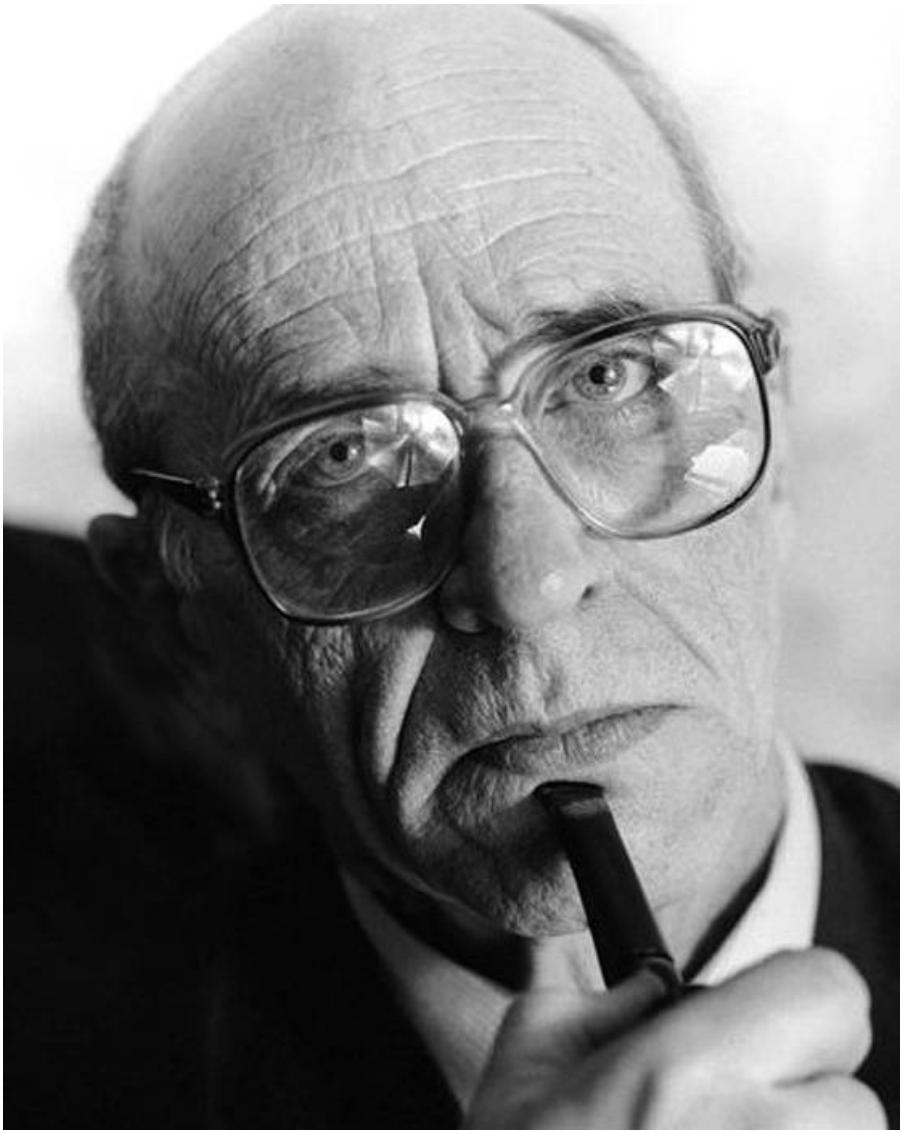


Шеф, Фейн и Мозганов, 1969 г.

«…И тут я услышал голос переводчика-синхрониста, такой знакомый кляузный голос Игоря Яковлевича Вайля, учителя английского из Второй школы». Фото 1984 г.

«…Мы перезнакомились и передружились с многоумными бэшниками… У них был и свой интересный словесник Збарский».

«Высокий, жилистый Богуславский (прозвище Гусь) не владел искусством завораживать слушателей, зато он обладал невероятной памятью и уникальной эрудицией».

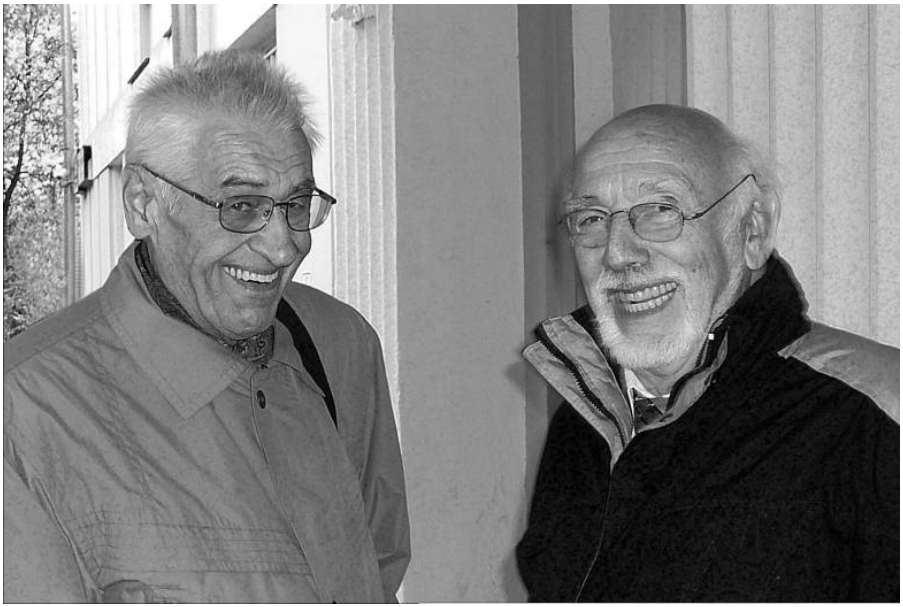


В. С. Непомнящий, фото начала 2000–х.

Шеф и гости — М. Ю. Тихонов и Евгений Ямбург — на юбилее школы.

Зоя Александровна в 57-й школе, начало 2000-х.

Наши учителя на юбилее школы.



Шеф и Яквасилич у дверей школы.

Часть вторая

«Рос я ребенком задумчивым и покладистым, звезд с неба не хватал». Фото 1959 г.

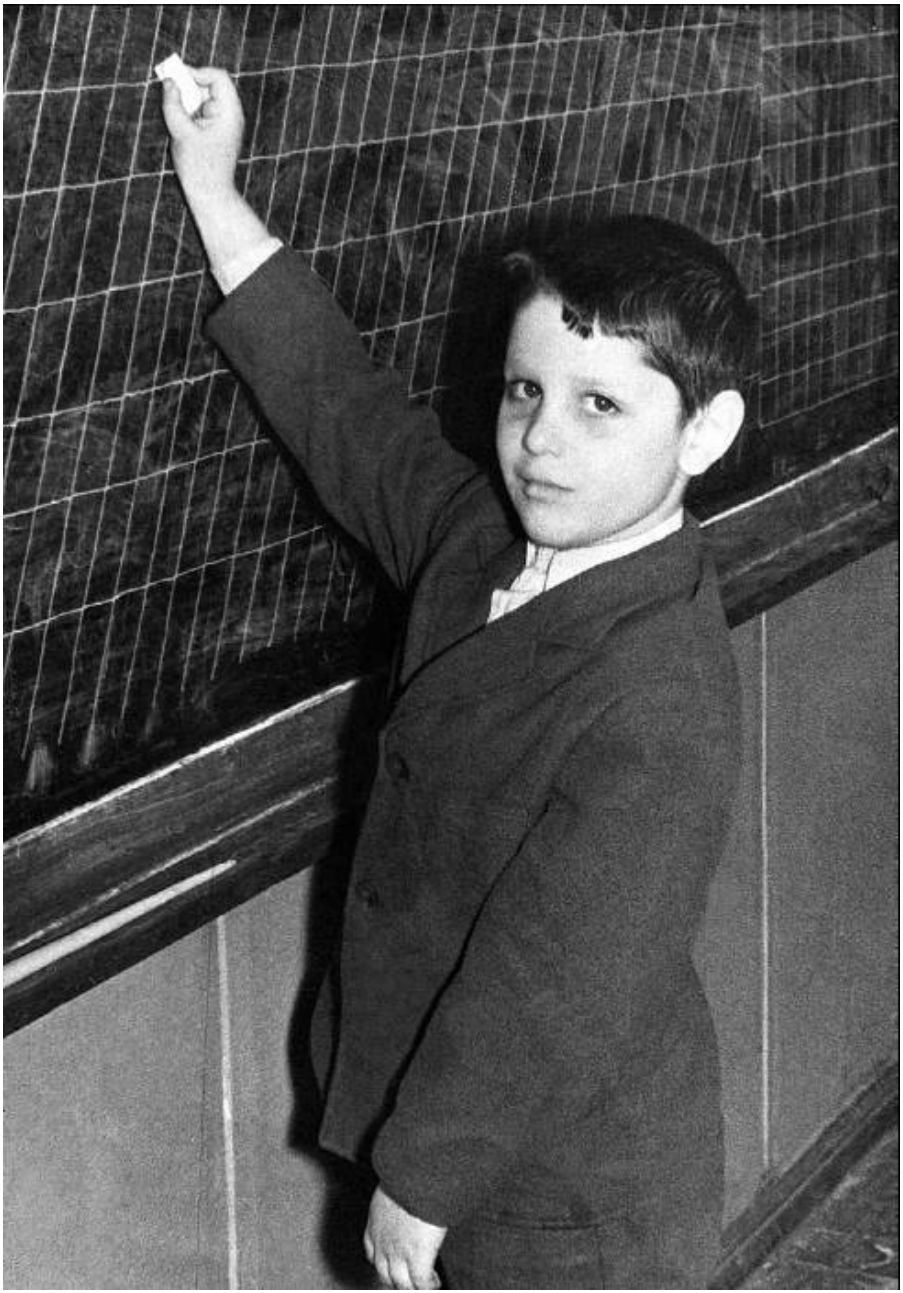
С мамой в нашем дворе, 1956 г. Наш деревянный дом у Палихи давно снесли, тополя еще живы.

С мамой, папой и бабой Розой на Патриарших прудах, 1957 г.

Родители перед Парком культуры, 1 мая 1960 г.

«До школы гулял в маленькой частной детской группе по саду ЦДСА». Справа от меня — Сашка Кауфман, 1960 г.

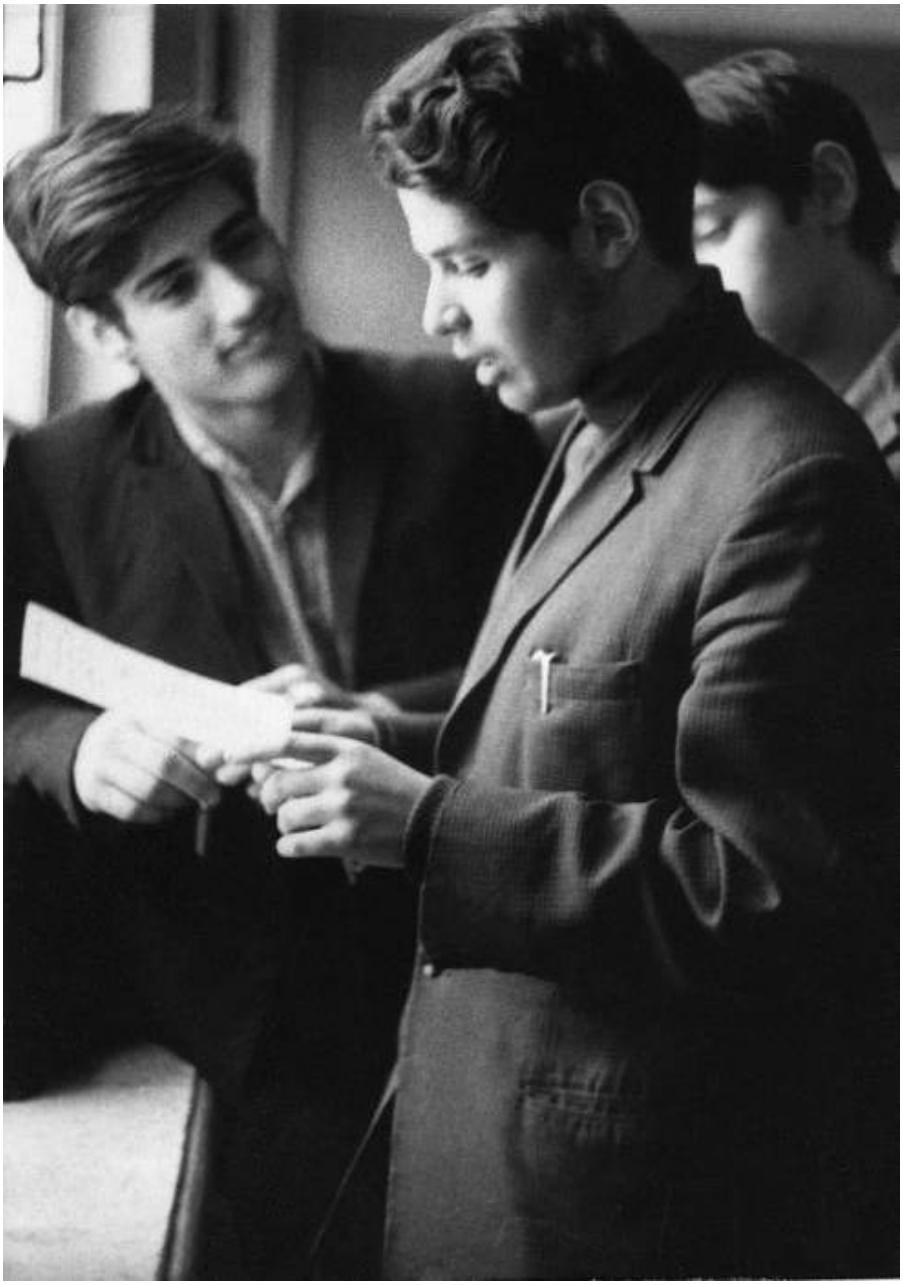
«Старший брат все школьные годы был круглым отличником», 1957 г.



Изображая прилежание. Во французской спецшколе, 1962 г.

«Мы пришли из своих школ отличниками, звездами, а здесь выглядели так себе, первые месяцы многие опасались попросту вылететь из школы», 1 сентября 1968 г.

Лена Захарьина уже во Второй школе, 1968 г.



На перемене. Слева — Игорь Зацман, 1969 г.

«Мы тренировались все перемены подряд и даже после уроков. Если бы кто посторонний зашел в это время в кабинет, его представления о школе для одаренных физматов сильно бы пошатнулись».

Каждое лето в Алуште бабушка обязательно отводила Наташу в местное фотоателье. Перед 9-м классом, 1968 г.

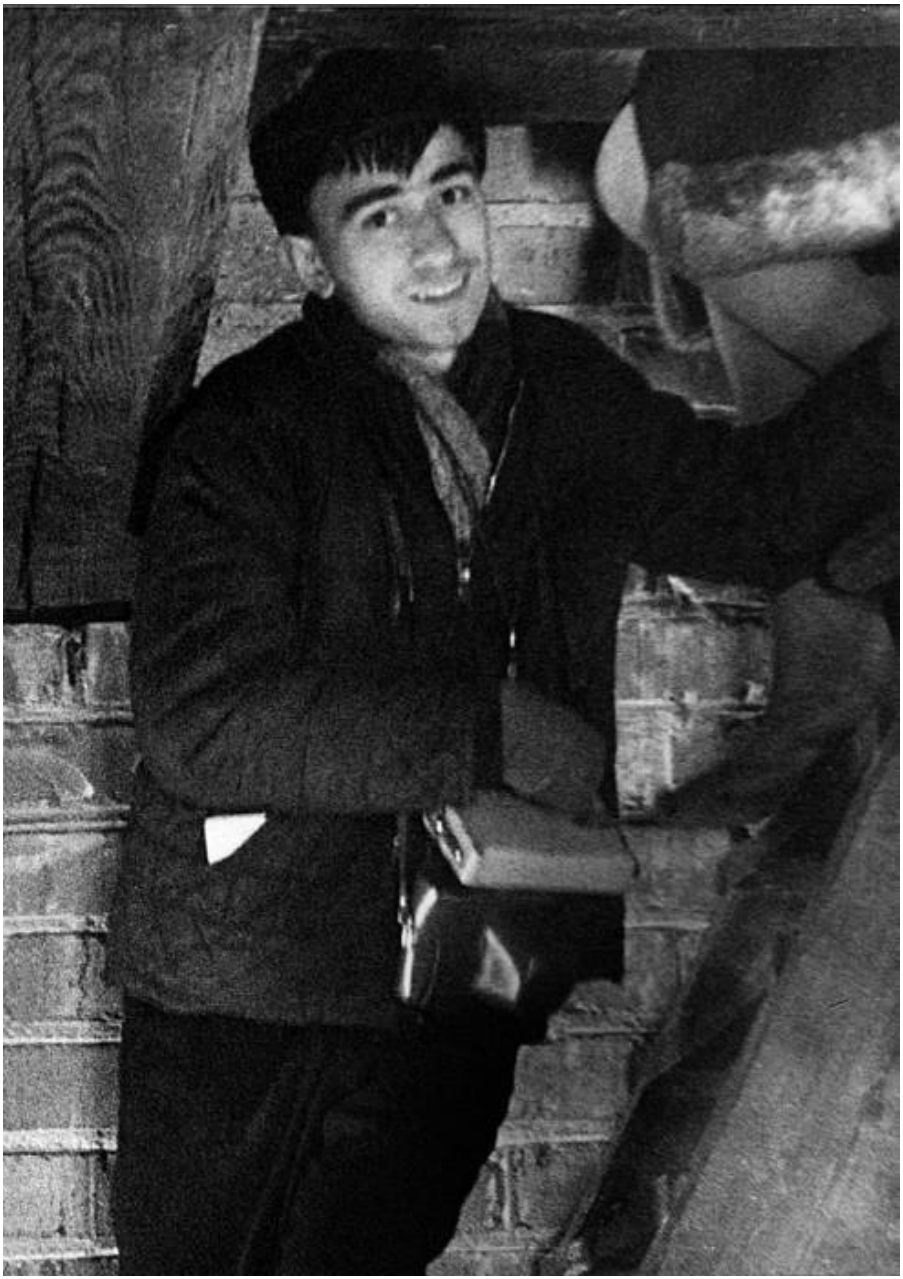
«Якобсон не врал — Наташа действительно была самой красивой девочкой в школе».

«Естественные желания юных организмов поесть и пообщаться удачно совмещались и в наших коллективных завтраках».

«В классе мы неожиданно снова пересеклись с Сашкой Кауфманом… Правда, пересеклись ненадолго. Вскоре его выгнали из школы. С треском».

В объятиях соцреализма. На случайной ж/д станции по дороге из Риги, 1969 г.

«Кате я посвятил просто ворох всяческой рифмованной ахинеи».



«Снимков у нас такое множество благодаря Сергею Шугарову, который щелкал беспрерывно и раздавал фотографии пачками».

Северный поход, 1969 г.

«Видно, нам и впрямь было хорошо. Фотографии потускнели, детали стерлись, но это видно».

С Игорем, Ленкой и Региной.

«В школьном кинотеатре крутили опальные фильмы, которые Мишка Райгородский пусть сам расскажет, где добывал». Мишка — слева..

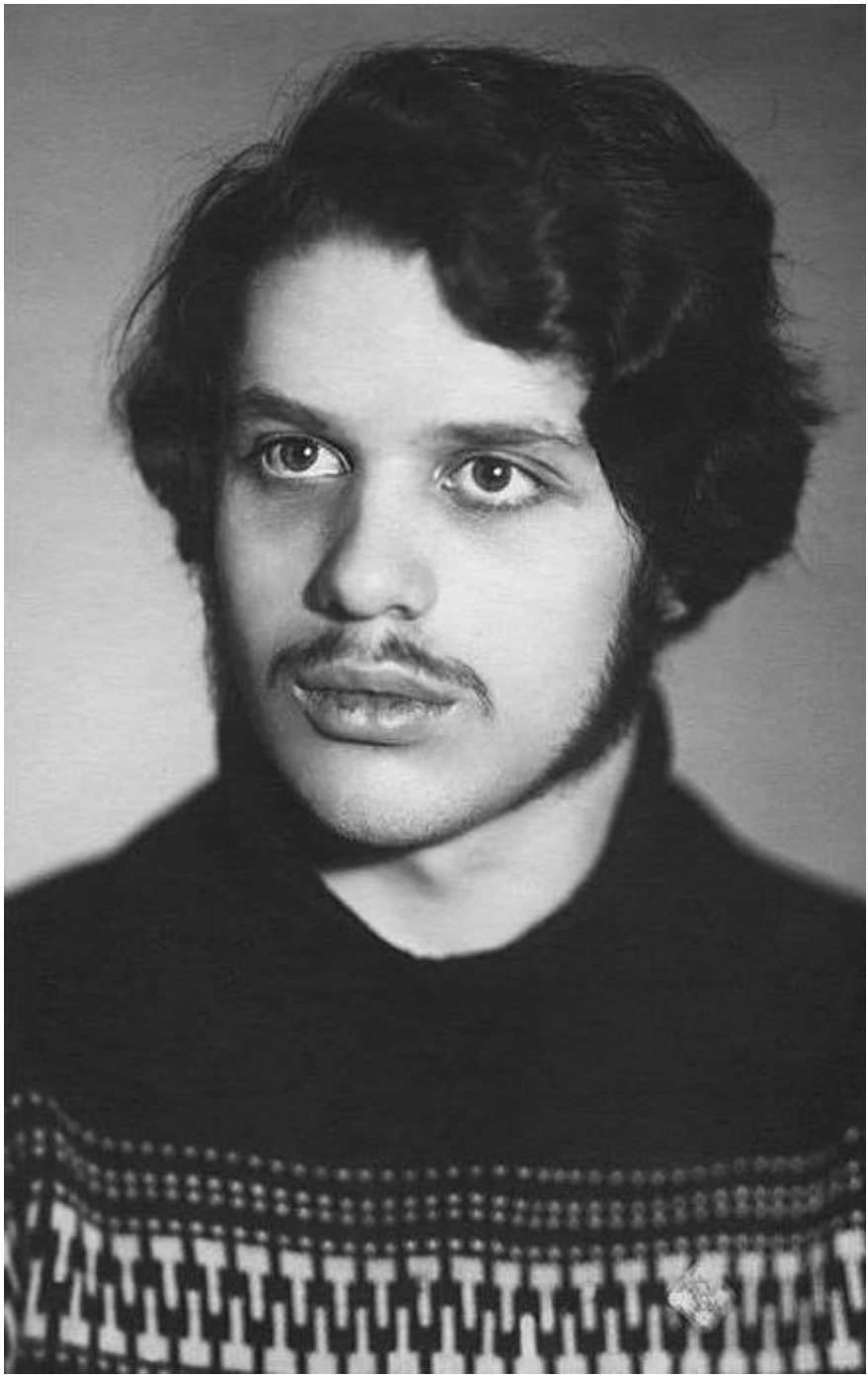
Марина Мдивани и Серега Попов.

«Неразлейвода дружбой наше совместное раздолбайство, пожалуй, не назовешь. Точнее тут будет слово дружество». Наша выпускная фотография, май 1970 г.

Последний звонок. Наташа впервые надела белый школьный фартук. Сегодня бы это назвали перформансом. Справа от нее — Римма.

С Яном, Феликсом и тем самым мобилем «Идеал есть гармония».

Наутро после выпуска, июнь 1970 г.



«Повесить такое у входа в советскую все-таки школу да еще под вывеской „Лучшие ученики“ администрация, чуть ни в еженедельном режиме принимавшая идеологические комиссии, не решилась».